

АЛЕКСАНДР  
**БУШКОВ**

«НЕПОЗНАННОЕ»

**ПЛЯСКИ  
С ВОЛКАМИ**



Бушков. Непознанное

Александр Бушков  
**Пляски с волками**

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Бушков А. А.**

Пляски с волками / А. А. Бушков — «Эксмо», 2022 — (Бушков. Непознанное)

ISBN 978-5-04-176538-5

Необъяснимые паранормальные явления, загадочные происшествия, свидетелями которых были наши бойцы в годы Великой Отечественной войны, – в пересказе несравненного новеллиста Александра Бушкова! Западная Украина, 1944 год. Небольшой городишко Косачи только-только освободили от фашистов. Старшему оперативно-разыскной группы СМЕРШа капитану Сергею Чугунцову поручено проведение операции «Учитель». Главная цель контрразведчиков – объект 371/Ц, абверовская разведшкола для местных мальчишек, где обучали шпионажу и диверсиям. Дело в том, что немцы, отступая, вывезли всех курсантов, а вот архив не успели и спрятали его где-то неподалеку. У СМЕРШа впервые за всю войну появился шанс заполучить архив абверовской разведшколы! В разработку был взят местный заброшенный польский замок. Выставили рядом с ним часового. И вот глубокой ночью у замка прозвучал выстрел. Прибывшие на место смершевцы увидели труп совершенно голого мужчины и шокированного часового. Боец утверждал, что ночью на него напала стая волков, но когда он выстрелил в вожака, хищники мгновенно исчезли, а вместо них на земле остался лежать истекающий кровью мужчина... Автор книги, когда еще был ребенком, часто слушал рассказы отца, Александра Бушкова-старшего, участника Великой Отечественной войны, и фантазия уносила мальчика в странные, неизведанные миры, наполненные чудесами, колдунами и всякой чертовщиной, и многое из того, что он услышал, что его восхитило и удивило до крайности, легко потом в основу его книг из серии «Непознанное».

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-176538-5

© Бушков А. А., 2022

© Эксмо, 2022

## Содержание

Герр Песталоцци	7
Панове непонятно кто	18
Ночные гости	31
Маугли местного разлива, новости и документы	39
Конец ознакомительного фрагмента.	46



# Александр Александрович Бушков

## Пляски с волками

*– Не может быть! – ахнул Сашок.*

*– Не может, – хмуро согласился Выверзнев. – А значит, скорее всего, так и есть.*

*Е. Лукин. «Алая аура протопарторга»*

© Бушков А.А., 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

## Герр Песталоцци

Я знал точно: никто из наших за эти восемь дней так ничего и не заподозрил. С чего бы вдруг?

Все выглядело совершенно буднично, насквозь житейски, если привлечь старомодные, давно вышедшие из употребления словечки – благолепно. В самом деле, как это смотрится со стороны? Энергично шагает ж себе прямиком к нашей штаб-квартире бравый капитан Сергей Чугунцов (меж своих – Акробат, из-за одного давнего дела), официально приказом назначенный старшим ОРГ<sup>1</sup> дивизионного Смерша. Действительно, дело насквозь житейское. И то, что подчиненный у меня один-единственный, причем не наш старый кадр, а пехотный гвардии лейтенант Петя Кашеверов, зеленый стажер в нашей системе, только три недели назад к нам определенный после госпиталя, никого не удивило. Мы – не фронтовое управление и даже не армейское. Людей у нас мало, задачи... в общем, на дивизионном уровне. Так что работаем чаще всего в одиночку или как раз группами из двух человек. Так уж у военных исстари заведено – там, где есть двое, один обязательно будет старшим.

Скорее уж получится наоборот: создание группы, пусть и из двух человек, заставит людей понимающих чуточку удивиться. Группы у нас создаются для особо серьезных дел, а обычно работаем в одиночку. Так что смотреть будут с некоторым уважением: мол, мы тут пустячки гоняем, а Чугунцову выпало что-то бардзо серьезное. Не могут они так не думать. И оттого на душе кошки скребут: ребята делом занимаются серьезно, хоть и пустяками, а мы с Петрушей восемь дней баклуши бьем. Хорошо хоть, никто не узнает. У нас категорически не принято совать нос в дела сослуживцев, разве что на общих совещаниях у подполковника Радаева иногда можно услышать какие-то обрывочки, в которые опять-таки не положено углубляться мыслью... Очень неловко – ребята пашут как проклятые, а мы, такие все из себя brave, оба двое, ждем у моря погоды. Весьма даже неудобно. И ничего не меняет тот суровый факт, что не мы себе такой непозволительный на войне курорт придумали, а токмо волею начальства...

Ну вот и вышел я к нашей штаб-квартире – причем на сей раз название такое следовало употреблять без тени той легонькой иронии, что не раз имела место допрежь. Здание вполне такого именования заслуживало – большущий двухэтажный домина с кирпичными кружевами по стенам и вокруг окон, балконами с затейливыми чугунными перилами, роскошным широким крыльцом с восемью ступенями и высокой двустворчатой входной дверью. Штаб-квартира, ага.

Часовой у крыльца был знакомый и меня уже знал, но все равно по вьевшейся привычке окинул бдительным взглядом. Опытный был кадр из войск НКВД по охране тыла, с медалью и орденом, красной нашивкой за легкое ранение. Но пропуска все же не стал требовать, не доходили до такого наши строгости, и потому пропусков у нас не водилось.

Поднялся я по ступенькам быстрым шагом, потянул здоровенную бронзовую ручку, легко распахнул дверь. Был тут какой-то архитектурный секрет: высеченная и тяжеленная дверь распахивалась легко, как садовая калитка.

Поднялся на второй этаж по широкой лестнице с затейливыми основательными перилами, пошел по высокому гулкому коридору к своему кабинету. Стены были в два кирпича (старорежимные, поболее современных), массивные двери из натурального дерева. Тишина стояла густая – и, как всякий раз, показалось, что никого нет в здании, кроме меня. Хотя народу здесь разместилось немало: не только мы, но и Отдел Смерш НКВД (контрразведывательное обеспечение войск НКВД и милиции). И все равно половина кабинетов осталась незанятой, и

---

<sup>1</sup> ОРГ – оперативно-разыскная группа.

мне достался такой, какого в других местах не бывало и у нашего начальника подполковника Радаева, да что там, и у иных армейских полковников на серьезных постах.

Специфика городишка Косачи, знаете ли, о которой подробнее чуть погодя. Построили домину, я уже знал, в последние годы царствования Николая Первого, и с тех пор здание, переходя из рук в руки, служило присутственным местом – и при царях, и при белополяках, и недолгий период при советской власти, и при немцах. Вот только лет через десять после постройки, когда произошли известные события и Косачи изрядно зажирили, чиновная орава отсюда схлынула, а те, что остались, попали в райские условия: какой-нибудь мелкий плюгавый писарь, даже без классного чина, сидел в хоромах, о каких допрежь того и мечтать не мог. Излишняя роскошь, конечно, но не бросать же здание, идеально приспособленное под канцелярию, только потому, что чиновничков стало в несколько раз меньше? Точно так же рассуждали и все последующие хозяева, точно так же рассудило и наше начальство. Жаль только, что полицейский участок (разместившийся во вполонину меньшем, но все же помпезном здании) с его капитальным подвалом и камерами располагался довольно далеко отсюда, и клиентов наших конвойным приходилось водить за добрых полкилометра – все же близко для того, чтобы затруднять машину.

Отпер дверь родным ключом, здоровенным, с причудливой бородкой, вошел в кабинет и, как обычно, форменным образом в нем чуточку потерялся – словно котенка запустили в здоровенный ящик. Кабинет был огромный, а всей мебели – двухтумбовый канцелярский стол, крытый зеленым сукном на манер бильярдного, да два стула (все нерасшатанное, на совесть сработанное еще в царские, такое впечатление, времена). Высокий, мне по грудь, сейф в углу, тоже неведомо с каких времен оставшийся, не удивлюсь, если тоже с царских. Ну и фотопортрет товарища Сталина на стене в застекленной рамочке. Если подумать, ничего мне больше и не нужно для нормальной работы.

Сел за внушительный стол (первый раз в жизни попался такой и наверняка долго еще не попадется), не спеша выкурил трофейную сигарету, прошел к сейфу и отпер его затейливым родным ключом (драпавшие отсюда работнички управы бросили все казенное имущество неиспорченным). В двух отделениях хватило бы места, чтобы уложить добрых полкубометра бумаг, но моя канцелярия оказалась гораздо более скромной: там у меня лежала одна-единственная папка с белесыми матерчатыми тесемочками, наша, с собой привезенная. Достал я ее – папка была легонькая, почти невесомая, – сел и положил перед собой на стол. Развязывать тесемки не торопился: все, что там лежало, было мне знакомо чуть ли не наизусть, можно было и не перечитывать, но не лезть в сейф означало бы дохнуть от безделья, как тянулось не первый день...

В правом верхнем углу я сам написал авторучкой большие синие буквы: УЧИТЕЛЬ. Название операции, ага. Давно уже повелось: каждая операция должна иметь название, сплошь и рядом взятое совершенно от фонаря. Дело отнюдь не сводится к одной лишь военной бюрократии, которой не особенно меньше, чем на гражданке. В первую очередь тут забота о сохранении секретности. Вражеский агент может засесть довольно высоко, но если ему попадется такая, скажем, строка: «Проведены очередные мероприятия согласно плану операции «Лапоть», он не продвинется ни на шаг, не зная ничего, кроме названия операции. Так-то. В самом начале, когда группа только формировалась, Петруша, не подумав толком, предложил назвать операцию «Песталоцци». Это у него школьные знания еще не выветрились – он был на четыре года моложе меня и более чем на четверть века моложе подполковника Радаева. Радаев, недолго думая, сказал резонную вещь: великий педагог Песталоцци жил, конечно, до исторического материализма, но, безусловно, был прогрессивным деятелем, гуманистом, а потому не следует припутывать его честное имя к немецким грязным играм. Петруша внял – а я предложил «Учителя», что никаких возражений начальства уже не вызвало, потому что, в общем, ситуации отвечало.



Итак, операция «Учитель»... Название хорошо согласуется с главным объектом нашего интереса – школой, где теветоны отнюдь не сеяли разумное, доброе, вечное, очень даже наоборот. По документам у немцев это предосудительное учебное заведение проходило как «объект 371/Ц», и за этим незамысловатым шифром укрывалась абверовская разведшкола, где обучали шпионажу, диверсиям и еще парочке гнусных ремесел. Довольно специфическая школа. Таких у абвера имелось немало, но не вполне таких. В большинстве школ готовили взрослых, а вот буквально в нескольких – мальчишек от тринадцати до шестнадцати лет (молже и старше не брали)...

Расчет был умный и весьма коварный. Мальчишка-шпион или мальчишка-диверсант вызовет гораздо меньше подозрений, чем взрослый, ему гораздо легче добиться своей цели, чем взрослому, да и отсутствие документов прокатит наилучшим образом – ну какие документы могут быть у такого вот пацана, кроме разве что табелей успеваемости, – да и отсутствие таковых опять-таки ни малейших подозрений не вызовет...

Ученички, надо сказать, были, конечно, не немцами, а жителями временно оккупированных территорий. Принуждения тут не было ни малейшего – от агента, работающего под принуждением, хорошей работы ждать трудно. Старательно высматривали подходящих кандидатов, а потом мастерски пудрили им юные неокрепшие мозги. Абверовцы, надо отдать им должное, были хорошими психологами и знали, на чем играть. В первую очередь на присущей мальчишкам страсти к приключениям. Любимыми играми мальчишек всегда были игры в войну, по себе могу сказать. А здесь – настоящие оружие и взрывчатка, настоящая тайная служба и, что уж там, настоящие награды. Многие на это покупались в первую очередь. А ведь были еще и деньги, хорошие пайки, специфическая идеологическая обработка.

Пионерия и комсомол? Ну, положи руку на сердце... Далеко не всем подросткам они успевали дать перед войной должную идейную подготовку, особенно если учесть, что кое-где немцы держались года по три. Как теперь известно, немало было в партизанах пионеров-героев, но были и такие, кто, выбросив пионерский галстук, а то и комсомольский билет, уходил и совсем по другой дорожке...

И не только в войне причина. Вспомните гайдаровского Мишку Квакина – дело там происходило еще до войны, Квакин, очень может быть, уже и комсомолец и уж по-любому пионер, что ему нисколько не мешает быть главным хулиганом, по выражению самого Гайдара, личностью гнуснопрославленной: обтрясает чужие сады, наверняка есть еще и какие-то другие художества, о которых в повести ничего не сказано. У Гайдара он встает на путь исправления, а в жизни случается и по-другому, и такие вот Квакины, подростки, уходят по уголовной дорожке без всякой войны. Теперь представьте, что этот вот Квакин оказался в оккупации, был замечен немцами и взят ими в работу. Что получится? Получится верный гитлеровский волчонок, тут и думать нечего.

А ведь были еще дети крупно пострадавших от советской власти, затаивших обиду на всю оставшуюся жизнь и постаравшихся потаенно отпрысков воспитать в том же духе. Были детки тех, кто пошел в бургомистры, полицаи и прочие немецкие активные холуи. Наконец, было еще такое явление, как специфика места. Здешние места, как западноукраинские земли, с двадцатого года и до осени тридцать девятого были под поляками. Советская власть тут держалась неполных два года, а потом на три года уселись немцы. Это тоже сыграло немаленькую роль...

Признаться по совести, когда немцы запустили эту машину, мы с изрядным опозданием врубались, что к чему. Вряд ли нас стоит в этом упрекать. Слишком долго были заточены исключительно на взрослого супостата, и первое время «квакины» (так их повсеместно стали звать, вроде того, как немцы были «фрицами», а полицаи «бобиками») резвились совершенно безнаказанно. Да и потом, когда узнали, что к чему, работать было трудно: очень многие, и

военные, и особенно гражданские, с трудом привыкали к мысли, что безобидный на вид змееныш лет пятнадцати может оказаться не менее опасным, чем взрослые.

Один пример. Тогда в первое время на участке нашего фронта (и нашей дивизии) трое таких вот «квакиных» устроили засаду, изрешетили из «шмайсеров» нашу «эмку». Все четверо, кто там был, погибли: командир полка, начальник штаба, начальник полковой разведки и водитель. Ехали на совещание к комдиву. Не доехали...

Мы, конечно, встали на уши, но искали-то мы, как привыкли, взрослых! А эти волчата прошли как песок сквозь пальцы и, как потом стало точно известно, перешли через линию фронта к немцам. Мало того, капитан Леха Рязанцев, разыскник матерый, с первого дня воевавший, на одного из них все же вышел, но не понял, на кого вышел, отнесся несерьезно. Ну и получил пулю в затылок – волчонок сообразил, что может потянуться ниточка...

И опять-таки потом, далеко не сразу, узнали: немцы, как и прежде случалось, устроили им встречу по первому разряду. Снова надо отдать им должное: и материальные, и моральные стимулы были у них поставлены на совесть. Кроме оккупационных марок, навешивали и регалии попроще, главным образом власовские железки, «медали для восточных народов», но и чисто немецкие солдатские. Как было с той троицей – они принесли документы убитых, планшет со штабными бумагами, награды у всех четверых забрали. Медали им цепляли, сволочи, на общем построении, и даже оркестрик наяривал что-то вроде «Хорста Весселя».

На «зеленых» волчат, еще ни разу на дело не ходивших, это производило именно то впечатление, на которое немцы и рассчитывали. Ну, представьте: расхаживают по школе, задирая носы, их сверстники со взаправдашними новехонькими медалями. Участники героического рейда по советским тылам, бя. Так и тянет брать их в пример, ни в чем не уступить. Я ж говорю, абверовцы были хорошими психологами. Умело и старательно поддерживали в питомцах убеждение, что те – нечто наподобие царских юнкеров, что после победы над Советским Союзом их непременно выучат на офицеров доблестного вермахта, но эту высокую честь надо еще заслужить усердной службой...

Школа возле Косачей, в лесу километрах в двух от городка, просуществовала года полтора. И за это время «квакины» оставили в Косачах весьма даже недобрую память. Куда там гайдаровскому Квакину, для которого потолком было – обтрясти яблони в чужом саду. Белым пушистым зайкой смотрелся Мишка Квакин по сравнению с абверовскими волчатами...

Немцы, аккуратисты, каждое воскресенье отпускали их в увольнение в городок. Отвозили туда большим автобусом двумя рейсами, а потом так же забирали. Вот они и развлекались на свой манер. Вообще-то в Косачах имелось подобие того, что можно назвать культурной жизнью: кинотеатр «только для немцев», театрик оперетты (куда на последние ряды пускали и местных). Однако из всех очагов культуры «квакины» уделяли внимание только солдатской чайной и двум ресторанчикам опять-таки «нур фюр дойче». «Стипендию» им платили не такую уж маленькую, но волчата жмотничали – то, что им хотелось, можно было взять и бесплатно...

За месяц, прошедший со дня освобождения городка, здесь успел освоиться и развернуться уполномоченный НКГБ капитан Кузьменко, мужик хваткий, с опытом. В его распоряжении было трое оперативников, и агентурой он за месяц обрести успел. Вот и заполучил стопку подробных показаний о грязных шалостях «квакиных». Начальство двух наших ведомств давно наладило взаимодействие – и я, как разыскник, занимавшийся школой (точнее, в первую очередь ее архивом), все эти показания читал. Не было смысла испрашивать копии, мои интересы лежали все-таки в другой плоскости, касавшейся не личного состава школы, а другого, так что я ограничился тем, что попросил у Кузьменко справку-выжимку. Он и сделал.

Первое время горожане, как и следовало ожидать, представления не имели, что это за странные подростки ватагами бродят по Косачам – юнцы в аккуратно подогнанной по фигуре

немецкой военной форме без погон, в добротных солдатских сапогах, пилотках без кокард. Но очень быстро узнали, в первую очередь торговцы с воскресного базара, что это за публика...

Немецкие солдаты все же, как проникнутый капиталистическим духом продукт буржуазного общества, за взятое на базаре аккуратно расплачивались, правда, оккупационными фантиками. Так поступали и полицейские, вообще все, кто работал на немцев. Совсем другое дело – «квакины» (многие из которых к тому времени поднакопили опыт мелкой уголовщины, иные попали в школу напрямую из криминальной полиции, немецкой или местной). Эти все, что им нравится, грабастали бесплатно, а если продавцы сдуру пытались протестовать... У каждого из «квакиных» лежал в кармане пистолет. Немцы им штатного оружия не выдавали, но долго ли шпанистому подростку в военное время раздобыть ствол? Главное было – не светить шпалеры в школе, иначе загремели бы на гауптвахту...

В первый же месяц увольнительных волчата на базаре застрелили двух сельских дядьков, имевших неосторожность возмутиться, когда шпаргонцы начали забирать то и это, явно не собираясь платить. Причем стервецы убежать не стали – преспокойно забрали и ушли не торопясь. Ну, понятно – полицейские были заранее проинструктированы, что эти «цветы жизни» приравнены к немецким солдатам, к которым «бобики» не имели права и близко подойти, что бы те ни натворили.

После второго убийства в Косачах поняли, что за напасть на них свалилась, и прониклись: на улицах обходили «юнкеров» десятой дорогой, а на базаре помалкивали и стояли столбом, пока их грабили. В общем, развернулись ребята. За полтора года изнасиловали шесть девушек, избили неслучайное количество народа, за самогоном охотились не хуже взрослых, к кому-то среди бела дня вломились в дом, сунули пистолеты под нос, зарезали поросенка в хлеву и унесли с собой в хозяйском мешке. Обчищали огороды среди бела дня, выпрягли у дядька лошадь и долго на ней катались... Да много было всякого хулиганства. Завели в Косачах пару натуральных «малин», где отдыхали от учебы с самогоном, патефоном и, из песни слов не выкинешь, с морально нестойкими девицами, являвшимися туда совершенно добровольно (показания пары-тройки таких девиц, державшихся тише воды ниже травы, распускавших сопلي и слезы, я тоже читал у Кузьменко). Что касается «малин» – это был единственный случай, когда волчата не пугали хозяев квартир и домов пушками, а ради пушного комфорта платили за «постой»...

Обо всех этих художествах абверовцы прекрасно знали, но ни разу и пальцем не погрозили, наоборот, их как раз устраивало, что их воспитанники лишний раз замарались в грязи и крови. Сам я не охотник, никогда не охотился, но рассказывал мне один старый волчатник: именно так волки натаскивают подрастающих волчат. Притаскивают в логово полузадушенную добычу, бросают деткам, и те принимают ее неумело душить...

Один только раз волчата заporолись: те самые трое диверсантов решили обмыть медали в Косачах. Сначала забрали на базаре несколько бутылок самогона (им торговали, понятно, из-под прилавка), одну бутылку распили из горла тут же и двинулись по улицам искать приключений. На безлюдной улочке встретили симпатичную молоденькую девушку и наладились было тащить ее на «малину». Девушка была одета гораздо лучше горожанок, но «герои» такими частностями не заморачивались – и ничуть не задумались над тем, что говорила она исключительно по-немецки. Потом оказалось: дочка какого-то мелкого коммерсанта из рейха, приехала сюда с отцом и решила погулять по «экзотическому русскому городу» (для немцев весь Советский Союз был – Россия)...

Быть бы дурешке изнасилованной на хазе, как ее предшественницы из местных, но она оказалась везучей: поблизости случился патруль фельджандармерии, и девчонка завопила на всю улицу, взывая к соотечественникам о помощи. Те крепенько надавали троице по шеем, но, проверив документы, в комендатуру все же не забрали: уж фельджандармы-то прекрасно

знали, что это за учетное заведение, и, должно быть, не стали связываться с абвером, благо девчонка осталась не избитой охалью...

Однако и тут обошлось: жандармы напинали «проказникам» и отпустили, предварительно отобрав самогон, однако рапорт школьному начальству прилежно отправили. Начальство, судя по всему, решило, что не стоит очень уж сурово наказывать орлов, только что устроивших в советском тылу серьезную пакость и награжденных за это даже не власовскими побрякушками, а вермахтовскими медалями. Все ограничилось разносом в кабинете начальника школы и лишением увольнительных на две недели.

(Крепко подозреваю, даже если бы эти паршивцы успели добиться своего, особых репрессий не последовало бы: волчата – товар штучный, а девица в конце концов – не генеральская дочка и не доченька какого-нибудь Круппа. Мелкий коммерсант – невелика птица, таких в рейхе хоть пруд пруди...)

Да, месяца за полтора до того, как немцам пришлось отсюда драпать, абверовцы решили, как бы это выразиться, расширить и углубить творческий метод – приняли в школу трех девчонок. Уж не знаю, на какую наживку их подцепили, в документах об этом ничего не было сказано, но и тут, безусловно, речи не шло о принуждении. Нашли для них какой-то свой крючок. Вообще-то все разведки мира с женщинами работают, наверное, с тех времен, как появились на свет (а первое упоминание об агентурной разведке имеется уже в Библии), но до абверовцев никто еще не додумался использовать девчонок позднего школьного возраста. Первопроходцы сраные... Безусловно, их планировали использовать исключительно для шпионажа: в отличие от мальчишек, девчонки не склонны к игре в войну, и диверсантки из них, по большому счету, плохие, не повернуты у них к этому руки. Бывают исключения, конечно, взять хотя бы нашу девушку Елену Мазаник, подложившую бомбу в постель гауляйтера Белоруссии Кубе, но это исключения и есть, к чему извращаться, если хватает кандидатов в диверсанты мужского пола, просто в свое время так уж сложилось, что мужчину к Кубе было ни за что не подвести...

Ладно, хватит об этом. По большому счету заниматься курсантами было не наше дело – учитывая, что никого из них в Косачах не осталось. Этим и далее предстояло ведать военной разведке. У нас была другая задача, другая цель, гораздо серьезнее: архив разведшколы...

В бумагах, которые к нам поступали из Главного московского управления (а также из Управлений фронтов и армий), не так уж редко встречались две ставшие стандартными формулировки: «По достоверным данным» и «Есть все основания полагать». Чаще всего это полностью отвечало положению дел. Практически никогда не уточнялось, что это за достоверные данные и серьезные основания – каждый знает ровно столько, сколько ему надлежит знать, – но обе формулировки, повторяю, были серьезными, и им следовало верить. В данном конкретном случае они были приведены обе, и, согласно обеим, абверовцы не успели вывезти секретный архив. Откуда это стало известно? Я без уточнений вышестоящих инстанций догадывался: судя по некоторым обстоятельствам, ясным человеку с опытом, в эту школу, как и некоторые другие, сумел проникнуть наш разведчик-нелегал. Другого объяснения не могло и быть.

Сама школа досталась нам целехонькой – полтора десятка бревенчатых зданий в лесу, в свое время добротнo возведенных немецкими саперами. Немцы не стали заморачиваться, вывозить оружейный склад, продсклад, а уж тем более кровати и прочую мебелишку. Бумаг осталось немало, но исключительно бесполезных, вроде ведомостей на сапоги и накладных на продукты. Все хоть капельку секретное, имевшее отношение к учебе, испарилось.

Курсантов абверовцы вывезли за шестнадцать дней до того, как наши войска вошли в Косачи. Такого финала они не предвидели, рассчитывали удержать оборону – просто-напросто школа оказалась чересчур близко от линии фронта, и ее решили передислоцировать. На такой именно план указывает и то, что архив планировали вывезти в случае скверного оборота дел в последнюю очередь, после эвакуации курсантов и преподавательского состава.

А вывезти-то и не получилось! Стремительный темп нашего наступления оказался для немцев совершеннейшей неожиданностью – на войне подобных неожиданностей хватало не только у немцев, у всех. Наши танковые клинья ударили с двух сторон и быстро закрыли «мешок», куда угодила парочка немецких дивизий, очень быстро перемолотых. Ни одна немецкая машина не сумела бы вырваться из этого «котла», пусть и небольшого по сравнению с некоторыми другими. Так что архив пришлось в темпе фокстрота спрятать где-то поблизости.

Задача была несложная и, несомненно, должна была занять очень мало времени. Особых ухищрений не требовалось. Архив, согласно одной из двух формулировок, оказался не так уж велик. Грубо прикидывая, кубометра три. В пересчете на стандартные саперные ящики, в которые немцы что только не пихали, даже если брать самые маленькие – получится десятка два, ну, два с половиной. Ящики уместились бы в одном-единственном грузовике не самой большой грузоподъемности: достаточно было бы вырыть где-нибудь в лесу не особенно и большую яму – работа на пару часов для трех-четырех хватких зольдатов, привычных ковыряться в земле. Потом в полном соответствии с приключенческими романами о пиратских и прочих «кладах» (романы такие часто имеют аналогии в реальной жизни) заметить место, подобрав надежный ориентир – скажем, «квадрат 24/12, сто метров на север от сосны с разбитой молнией верхушкой» или «триста метров на юго-восток от палаца Косачи». Главное, чтобы ориентир был капитальный, о котором можно рассчитывать, что он сохранится надолго. Ну и хорошенько замаскировать захоронку, скажем, сжечь над ней тот самый грузовик – жертва боевых действий, ага, сожженный нашими «эрэсами»<sup>2</sup> с истребителя или спаленный самими отступающими немцами, когда кончился бензин. Подобной рухляди валялось там и сям несказанное количество, и если она была в совершеннейшей негодности, могла остаться нетронутой очень долго – кому нужен сгоревший дочиста грузовик, с которого даже запчасти не снимешь? Ну а потом, если сбудутся мечты записных немецких оптимистов (в сорок четвертом они практически уже не сбывались), вернувшись, нетрудно и выкопать...

По точным данным, дело взял под контроль сам Семеныч<sup>3</sup> – впервые за всю войну появился шанс заполучить архив абверовской разведшколы, тем более такой. Однако (если допустить на миг этакое вольнодумство), если бы дело попало на контроль, туда, где выше не бывает, к Самому с большой буквы – пожалуй, и Верховный не смог бы сделать так, чтобы вдумчиво обшарили каждый квадратный метр в окрестностях Косачей. Тут и дивизией не обойдешься. Архив, конечно, вещь интересная, нужная в хозяйстве и полезная, но все же не настолько, чтобы ради нее массу людей с фронта снимать.

Вот и ограничилось все тем, что создана ОРГ в составе бравого капитана Чугунцова с его верным Санчо Пансой Петрушей – пока что пребывающая в пошлом безделье отнюдь, как легко догадаться, не по собственному разгильдяйству. Перефразируя Ильфа и Петрова, не корысти ради, а токмо волею начальства. Радаев говорил, что в ближайшее время поступят некие материалы, которые нам позволят резво шагнуть вперед. Подполковник слов на ветер не бросал, значит, так и будет. Вот только я не первый год служил, прекрасно знал, что сплошь и рядом материалы из Главного управления не прилетают пулей, даже если дело взял на контроль сам генерал-лейтенант. У Главного управления – одиннадцать фронтов, вот и прикиньте...

Ладно, по большому счету всё это – где-то даже и ненужная лирика. В конце концов, о разведшколах абвера, в том числе и их гораздо более редкой разновидности, «квакинских», мы в сентябре сорок четвертого года знаем достаточно. Есть в этой задаче гораздо более интересные, до сих пор не во всем проясненные уравнения, свои темные места, наконец, отдельные чертовски интересные личности. Применительно к данному конкретному моменту это, без-

<sup>2</sup> «Эрэс» – реактивный снаряд.

<sup>3</sup> Семеныч – Виктор Семенович Абакумов, в описываемое время – генерал-лейтенант, начальник Главного управления контрразведки Смерш наркомата обороны СССР.

условно, личность «герра Песталоцци», сиречь начальника школы оберста (по-нашему, майора) Людвиг Кольвейса. Крайне любопытный персонаж, абсолютно нестандартный, никак не рядовой экспонат абверовского зверинца.

Первую половину жизни и даже чуть-чуть больше Людвиг Карлович Кольвейс, прибалтийский немец из Риги, потомственный подданный Российской империи. В Риге его предки обосновались чуть ли не во времена крестоносцев, да так там и остались, когда Петр Первый не то что взял Прибалтику на шпагу, а самым честным образом ее купил у шведов за очень приличные деньги. Щедрой души был государь император – мог бы и задаром отобрать. Ну, так оно, видимо, было спокойнее...

Кольвейсы – не только не фон-бароны, но даже и не дворяне. Однако и простыми ремесленниками никогда не были. Помещики средней руки, небедные купцы, фабриканты. Словом, не пролетариат и не трудящаяся интеллигенция...

Родился в восемьсот девяносто четвертом году. Окончил гимназию, успел год проучиться в Рижском политехническом институте. Потом началась война, и наш герой пошел на нее добровольцем, вольноопределяющимся в стрелковый полк, русский, конечно. Многие могут удивиться: как это – немец воевал против немцев? Однако нам в училище читали двухчасовой спецкурс и на эту тему.

Никакой такой «единой германской нации» не сложилось, пожалуй что, и сегодня. Германскую империю создал «железный канцлер» Бисмарк всего семьдесят три года назад – где добром, а где железом и кровью. До этого многие сотни лет преспокойно существовало три с половиной сотни самостоятельных государств, от больших и сильных до сущих крохотулечек. Друг с другом они порой воевали не на шутку – в Семилетнюю войну, но особенно триста лет назад в Тридцатилетнюю, от которой не остался в стороне практически никто. Да и при империи во многих «странах» остались прежние короли-герцоги, а их армии пользовались некоторой автономией, пусть и куцей.

Многие до сих пор себя считают не «немцами», а пруссаками, баварцами, саксонцами и прочими. У некоторых – не просто диалекты, а чуть ли не свои самостоятельные языки. Войны меж ними, конечно, отошли в прошлое, но кое-какие трения остаются, есть своя специфика. Пуще всех задирают нос пруссаки – германским кайзером стал их король, и его преемники до краха монархии носили титул «кайзер германский и король прусский». Другие немцы, считая пруссаков тупыми солдафонами, их недолюбливают, особенно саксонцы, с которыми Пруссия ожесточенно воевала в Семилетнюю войну и чувствительно Саксонию погромила, отхряпав немало земли. Ко всему этому добавляются и религиозные различия: на севере обосновались лютеране, на юге – католики (в Тридцатилетнюю войну размежевание как раз и шло по религиозному признаку). Одним словом, «общегерманское единство» – вещь мифическая, так что нет ничего удивительного в том, что прибалтийские немцы воевали против «германских немцев» в российской императорской армии и на флоте. И Кольвейсы – никакой не уникум...

Надо отдать ему должное, в тылу не отсиживался и пулям не кланялся – к концу четырнадцатого года получил солдатского Георгия четвертой степени и той же степени Георгиевскую медаль. Был направлен в школу прапорщиков и в полк вернулся командиром взвода. Награжден «клявкой»<sup>4</sup>, Станиславом четвертой, Анной третьей и Владимиром четвертой (все, разумеется, с мечами), уже офицерским Георгием четвертой степени. К февралю семнадцатого был капитаном, командиром стрелковой роты.

Далее на год – провал в биографии. Что он в этот период делал, сведений нет. Зато дальнейшее задокументировано точно...

<sup>4</sup> «Клявка» – обиходное название ордена Св. Анны четвертой степени. Царская награда, носившаяся не на груди, а на рукояти офицерского холодного оружия (сабля, шашка, палаш, кортик).



Обнаруживается у белых – сначала у Корнилова, потом у Деникина и сменившего его Врангеля. С остатками врангелевцев уплыл в Константинополь. Судя по всему, беляком был идейным, упрямым и неугомонным – всплывает на Дальнем Востоке, где воевал у генерала Дитерихса, пока белых не вышибли окончательно и оттуда. Осел в родной Риге, в то время уже столице независимой Латвии, и продолжать довоенное образование не стал, двинул на ниву народного просвещения. Окончил какое-то двухгодичное заведение вроде нашего техникума, но за пятнадцать лет карьеру сделал неплохую: учитель, классный инспектор, директор гимназии. Получил даже какую-то латышскую железку за гражданские заслуги. В двадцать пятом женился на такой же рижской немке, в тридцать восьмом овдовел. Единственный ребенок – сын, сейчас в училище подводников. О каких бы то ни было его связях с белой эмиграцией или немецкой разведкой сведений нет.

Уехал с сыном в Германию, когда немцы в массовом порядке вывезли туда прибалтийских фольксдойче<sup>5</sup>. В рейхе очень быстро попал на глаза абверу – ну да, с его биографией и безукоризненным знанием русского... Уже через месяц после приезда в Германию в чине оберлейтенанта служит в абвере, в чьих рядах и состоял до недавнего времени.

Я так понял, особенный интерес у наших Кольвейс вызвал оттого, что он был не простым начальником школы. В свое время стал одним из разработчиков плана «Юнгевальде» – того самого плана по созданию школ малолетних шпионов и диверсантов. Надо полагать, у нас о нем до сих пор знали мало.

(«Юнгевальд» по-немецки означает «молодой лес». Во многих странах военные операции и планы носят название, но немцы всех перещеголяли – пожалуй, единственные, кто поставил на поток красивые, прямо-таки поэтические названия, в свое время называли прорыв своих боевых кораблей к нашему Северному морскому пути «операцией Вундерланд», то есть «Страна чудес». В толк не возьму, какие там могли быть чудеса – один морской разбой. А в прошлом году провели масштабную операцию против партизан, где участвовали еще латышские и эстонские эсэсовцы, украинские полицаи и «дубравники»<sup>6</sup>. И называли ее, изволите ли видеть, «Зимнее волшебство»...)

А вот теперь начиналось самое интересное...

По точным сведениям не посвятившей нас в такие детали Москвы, оберст Кольвейс не ушел с отступавшими немцами, а укрылся где-то в здешних местах. Окрестные деревушки отмечаем сразу – там всякий новый человек на виду. Так что укрыться он мог только в Косачах. Так что нам, кроме поисков архива, предписывался еще и розыск герра педагога, чтоб ему провалиться.

А это было задачей труднейшей. Даже учитывая, что в городишке обитало всего-то тысячи три жителей. Не было технической возможности обыскать все без исключения дома и проверить всех до единого мешканцев<sup>7</sup> – кто бы нам выделил столько людей, даже учитывая важность поставленной задачи? Не Геринга ловим, в конце-то концов, и даже не генерала, ладья, конечно, но все же никак не ферзь...

Здешний уполномоченный НКГБ был мужик хваткий и успел за месяц обрасти кое-какой агентурой среди местных, но она пока что ничем не помогла. Кольвейс мог обосноваться на этой же улице и сидеть там тише воды, ниже травы, не привлекая к себе ровным счетом никакого внимания – коли уж за месяц не попался, мог позаботиться о безукоризненной легенде, а то и убедительных фальшивых документах. Почти никто его раньше не видел – не только местные, но и большинство немцев. В Косачах он по делам школы бывал редко, общался с

<sup>5</sup> *Фольксдойче* – этнические немцы, жившие за пределами Германии.

<sup>6</sup> «Дубравники» – белорусские националисты, сотрудничавшие с гитлеровцами.

<sup>7</sup> *Мешканец* – житель (польск.).

узким кругом лиц – и среди допрошенных пленных никого из этих лиц не оказалось, как и среди разнообразных немецких пособников...

Фотографий его в нашем распоряжении не имелось. Словесный портрет, правда, был, явно составленный профессионалами. Но в данной конкретной ситуации и он мало чем мог помочь, особенно при розысках человека, который, несомненно, без крайней необходимости нос из своего убежища высовывать не будет. Вообще со словесным портретом научены грамотно и хватко работать исключительно оперативники. С комендантскими патрулями (и в особенности с солдатами войск НКВД) обстоит гораздо хуже. Да и внешность изменить мог. Месяца хватило бы, чтобы отпустить бороду, а наголо обрить голову можно было еще быстрее, сразу же. И то, и другое внешний облик человека меняет разительно...

С самого начала я заметил, что во всей этой истории были откровенные нескладушки, лежавшие на поверхности и пока что не находившие объяснения (и подполковник Радаев с моими соображениями согласился). Во-первых, решительно непонятно, почему вообще Кольвейс остался здесь. Кому-кому, а начальнику разведшколы абвера, тем более столь специфической, приказали бы эвакуироваться в первую очередь. Даже после того, как наши танки в полусотне километров западнее замкнули кольцо окружения, немцы здесь об этом еще три дня не знали – и наперегонки драпали на запад. Только на четвертый день в Косачи вошли наши стрелковые части – и застрывших в окружении немцев было очень немного, в основном тыловиков без офицерских погон...

Во-вторых (а то и в-главных), Кольвейс, человек сугубо городской, безусловно, не стал бы укрываться под елочкой в чащобе – чересчур уж безнадежное предприятие. А чтобы засесть где-то в городе, он, несомненно, должен был располагать заранее подготовленной агентурой из местных – но в том-то и дело, что агентуре таковой неоткуда у него взяться! Конечно, контрразведывательные подразделения абвера таковой располагали, но она ни к чему абверовской школе. А поскольку и у немцев действует тот же железный принцип: «Каждый знает ровно столько, сколько ему положено знать», Кольвейс никак не мог что-то знать об агентуре «смежников». Но ведь где-то лежал на дне целый месяц!

Вообще-то в московских бумагах значилось, что у Кольвейса есть особая примета, прямо-таки роскошная. На груди мастерски выполненная татуировка «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!», и под ней двуглавый императорский орел. До революции такие верноподданнические штучки были совершенно не в ходу даже у ярых монархистов, так что наколка явно сделана в его белогвардейские времена. Доводилось мне в прошлом году допрашивать немецкого подполковника пятидесяти с лишним лет, так вот он как раз, когда пришло известие об отречении кайзера, выколол на груди кайзеровского орла под короной. Упертый был монархист – ага. Даже чуточку огорчился, сукин кот, узнав, что нам его татуировка до лампочки и никто за нее расстреливать не будет.

По большому счету, нам от этой шикарной особой приметы не было ровным счетом никакой пользы. Опять-таки нереально раздевать до пояса всех подозрительных мужчин подходящего возраста. Получается, как в старом анекдоте: лучший способ извести мышь – поймать и соли ей на хвост насыпать. Поди поймай...

И наконец... Вот он, Людвиг свет Карлович, отличного качества фотография, извольте любить и жаловать. Одна беда: сделана она в некоем «фотоателье» Маркуса в Санкт-Петербурге весной шестнадцатого года. Для опознания, в общем, непригодна: за двадцать восемь с лишним лет человек меняется разительно. Сужу в том числе и по фотографии моего бати, сделанной в Гражданскую, и по фотографии того же времени, которую я видел у Радаева. Если бы они оба не показали на себя, ни за что бы в этих молодых парнях в гимнастерках с «разговорами»<sup>8</sup> и буденовках...

<sup>8</sup> «Разговоры» – обиходное название разноцветных клапанов на гимнастерках или шинелях красноармейцев в 20-е годы.

Вполоборота к камере сидит свежесвепеченный господин прапорщик в отутюженном френче и новехонькой, сразу видно, офицерской фуражке, картинно держит руку на сабле. Кроме обеих Георгиевских наград и знака школы прапорщиков, изукрасил себя всем, чем располагал: бинокль на груди, через левое плечо офицерская планшетка, через правое походный кожаный портсигар, на левой руке вдобавок большой компас. Ну, свежесвепущенные офицеры всегда и везде одинаковы. Я сам после выпуска из училища, когда получил лейтенантские «кубари»<sup>9</sup> (Эмалированные!! Вишневого цвета!), снялся примерно так же: бинокль из цейхгауза училища на груди, полевая сумка да вдобавок шашка меж колен (которая мне, в отличие от сабли Кольвейса, по уставу не полагалась категорически). Девушек впечатляло, что уж там...

На обратной стороне твердого паспарту<sup>10</sup> каллиграфически выведено: «Виленская школа прапорщиковъ, март 1916 года». Вот именно, март шестнадцатого, двадцать восемь с лишним лет назад. Сейчас, несомненно, этот юнец с лихими усиками выглядит совершенно иначе...

---

Цвет обозначал принадлежность к определенному роду войск.

<sup>9</sup> До февраля 1943 г., когда ввели погоны со звездочками, знаками различия в Красной армии служили геометрические фигуры на петлицах гимнастеров и шинелей: треугольники у сержантов и старшин, квадраты-«кубари» у лейтенантов, «шпалы» до полковника включительно.

<sup>10</sup> *Паспарту* – картонная подложка, на которую до революции часто наклеивали фотографии.

## Панове непонятно кто

Вот и все, что у меня имелось на Кольвейса, и своими усилиями я не мог к этому ничего добавить, оставалось ждать, когда Москва выполнит свое обещание (если выполнит) и пришлет дополнительные данные...

День едва перевалил за полдень, заняться было совершенно нечем, а потому я в десятый раз, чтобы не считать мух и не пялиться в окно, взялся за скудные материалы по двум другим фигурантам тошненикого дела, попавших в папку «Учитель» исключительно из-за заявленной связи их с Кольвейсом. При других условиях, скорее всего, ими занялся бы НКГБ, но из-за упоминания в анонимном письме именно что Кольвейса занялись мы. Да и письмо принесли не в НКГБ, а нам. Среди бела дня к наружному часовому у отведенного нам здания подошел невидный собою мужичок, сунул ему большой самодельный конверт, заклеенный вареной картошкой, «пробелькотал»<sup>11</sup>, как выразился часовой родом из Западной Белоруссии: «Панам советским офицерам» – и припустил прочь. Часовой, понятно, не мог покинуть пост и кинуться вдогонку, окликнул, но тот припустил еще шибче, свернул за угол и исчез с глаз. Ну, часовой вызвал свистком разводящего, доложил по всей форме и отдал конверт, попавший от дежурного офицера к Радаеву, а там и ко мне.

Было это неделю назад. С сержантом, стоявшим тогда на часах, я поговорил. Парень третий год служил в войсках НКВД по охране тыла, имел три медали и красную нашивку, был сметливым, сообразительным, на хорошем счету в роте, но он не смог дать ни малейшей ниточки. Неприметный бородатый мужичок лет сорока, разве что у сержанта почему-то осталось именно такое впечатление, не горожанин, а скорее хуторянин или деревенский. «Вот отчего-то такое впечатление осталось, товарищ капитан», – говорил он. Поди найди теперь, хотя найти было бы крайне желательно, было о чем порасспросить...

Вот она, анонимка. Стандартный лист желтоватой немецкой бумаги, писано химическим карандашом, хорошо очиненным, который часто слюнили...

«Даргие савецкии товарищи!

Как я есть человекк савецкий, доношу до вашего сведения, что часовщик Ендрек Кропивницкий, что мешкает на Липавой номер восемь, а мастерскую держит на площади у костела, есть не часовщик и не Кропивницкий, а капитан Ромуальд Барей, что при польских панах, разрази их лихоманка, потаенно служил в дефензиве<sup>12</sup> и вынюхивал славных камунистических подпольщиков, как пес. А потом с такими же сволочами их катувал в подвалах и двух сам рострелял без всякого на то суда, пусть и панского несправедного. Када пришли наши в тридцать девятом, он, я так располагаю, затаился. А при немцах, паскуда такая, стал им наущничать. Ходил под абверовским майором Кольвейсом, каковому и выдавали честных савецких людей, про которых случалось узнать, что они против немцев. А часто и вовсе наклепывал на безвинных, немцы их потом катували и вешали. Его лепший приятель, который аптекарь, Владимир Липинский, из того же ящика тварь. Вдвоем немцам доносили. Таварищи, не упустите этих двух сволочей! Уж выбачайце, не подписуюсь и не объявляюсь, потому боюсь. Кроме этих двух гнидов в городе есть еще и другие затаившиеся немецкие хвосты».

Такой вот эпистоляр. Это до войны, после воссоединения здешних земель с советской Белоруссией, самым активным образом дефензивой занимались как раз мы, тогда еще не Смерш, а особые отделы Красной армии. Но не теперь. Сейчас к нашим конкретным целям

---

<sup>11</sup> «Белькотать» – бормотать (польск.).

<sup>12</sup> Дефензива – политическая полиция в довоенной Польше.

и задачам уже не имела никакого отношения контора, благополучно сдохшая без отпевания пять лет назад. При других обстоятельствах мы переправили бы анонимку в НКГБ и думать о ней забыли, но в ней упоминался абверовец Кольвейс...

Кропивницкий и Липинский моментально попали даже не под лупу – под микроскоп, что твои бактерии. Обоих взяли под круглосуточное наблюдение и принялись собирать о них сведения, напрягли и НКГБ, и милицию, привлекли и двух человек, при немцах как раз и занимавшихся партизанской разведкой в Косачах и по возрасту не взятых в армию полевыми военкоматами.

Толку не получилось никакого. Абсолютно. Первостепенное внимание уделили Кропивницкому, по утверждению автора анонимки, офицеру дефензивы. И не накопили и тени компроматериалов. Не будь анонимки, благонамереннейший обыватель, хоть икону с него пиши... Никаких сведений о его работе на немцев чекисты не откопали, не было таковых и у партизан. Вообще-то разведка в Косачах у них была поставлена хорошо, троих засвеченных немецких стукачей они еще при оккупации шлепнули, а спустя некоторое время после освобождения города повязали и привели куда следует, но, как показывает опыт, в таких делах всегда удается вскрыть лишь часть агентуры противника, никогда не бывает так, чтобы удалось высветить всю целиком – никогда и нигде, таковы уж законы игры, не нами и не сегодня придуманные...

Ну а оба партизанских разведчика, узнав, что Кропивницкого связывают, кроме немцев, еще и с дефензивой, удивились не на шутку. Ни о чем подобном в Косачах никто и не слыхивал.

Жизнь Кропивницкого за десять с лишним лет в Косачах была изучена доскональнейше. С какой стороны ни подходи, представал безобидный и благонамеренный обыватель, лояльный ко всем сменявшим друг друга властям, этакий премудрый пескарь, если вспомнить Салтыкова-Щедрина.

В Косачах он появился летом тридцать четвертого и обосновался здесь прочно. Судя по всему, денежки у него водились. Купил небольшенький, но приличный каменный домик с большим огородом на окраине города, обустроил небольшую часовую мастерскую в хорошем месте на площади у костела. Сначала дела у него шли не особенно хорошо – в Косачах уже было три часовщика, но мастером он оказался хорошим и понемногу потеснил двух из трех, так что серьезным конкурентом для него стал только один, некто Яков Циперович. Кропивницкий работал не только с частными клиентами – чистил и чинил настенные и напольные часы в разных конторах и учреждениях.

Неизвестно, был ли он женат раньше – в Косачи приехал один-одинешенек и о своем прежнем семейном положении никогда никому ничего не рассказывал. Однако через пару месяцев сошелся с некоей Анелей, бездетной вдовушкой десятью годами его моложе – городишки вроде Косачей во многих отношениях чертовски похожи на деревню, такие вещи ни за что долго не скроешь (видел я эту Анелю – не писаная красавица, но довольно симпатичная). Еще через два месяца они по всем правилам обвенчались в костеле, да так до сих пор и жили. По отзывам соседей и знакомых, жили, в общем, дружно, детей, правда, так и не завели...

Одним словом, пять с лишним лет Кропивницкий проработал, пользуясь словами Ильфа и Петрова, кустарем-одиночкой без мотора. А если выражаться более пышно, как это было принято в буржуазной Польше, – частным предпринимателем, правда, не более чем на десяти квадратных метрах и с инструментами, умещавшимися в небольшом чемодане (ну, инструмент у часовщиков миниатюрный и много места не занимает). Палат каменных, кроме того домика, не нажил, но и никак не бедствовал, не пролетарий, что уж там.

С установлением советской власти для нашего героя мало что изменилось. Все четверо часовщиков так и работали в прежних мастерских, но новая власть их объединила в трудовую артель с красивым названием «Красный маятник» (я не стал выяснять, в чем именно заключалась эта самая артельность – совершенно ни к чему было).

Потом началась война и пришли немцы. Кропивницкий и тогда ничего не потерял. Даже наоборот, стал этаким монополистом, единственным в Косачах часовых дел мастером. Его главный конкурент Циперович был евреем и, справедливо не ожидая от немцев ничего хорошего, в первый же день войны эвакуировался со всем семейством. Что до двух остальных, один погиб при бомбежке, а у второго оба сына ушли в партизаны, за что его и сволокли в полицейскую роту «дубравников», откуда он уже не вернулся.

Кропивницкий не бедствовал. Чинил те же самые часы в тех же учреждениях и конторах, которые теперь заняли немцы, – да вдобавок к нему с наручными и карманными часами и будильниками ходили теперь главным образом немцы и их прислужники.

Когда вернулись наши, часовщика никто никаким репрессиям подвергать не стал. Не стоит говорить об этом прилюдно, но такова уж была суровая реальность непростого времени. На временно оккупированных территориях в партизаны или подпольщики никак не могли уйти все поголовно советские люди, да многие к этому и не стремились, просто пытались выжить, как уж удавалось. Очень многие работали у немцев официантками, уборщицами, возчиками, грузчиками, короче говоря, на грязных работах типа «подай-принеси». Никто не считал их «изменниками Родины» и «пособниками оккупантов». Другое дело – сотрудники всевозможных управ и особенно полицаи, и вот с теми разговор был короткий...

Так что с возвращением наших для Кропивницкого мало что изменилось – те же самые часы в тех же самых учреждениях, сменивших разве что вывески, а вместо немцев – наши военные...

Об анонимке мы сообщили даже не в наше армейское управление, а его посредством в Москву, именно что из-за упоминания там Кольвейса, чьи поиски были на контроле в столице. И очень быстро пришел ответ: поиски материалов о капитане дефензивы Ромуальде Барее в наших архивах начаты. Лично меня это ничуть не удивило: я и начал службу в сентябре тридцать девятого в составе одной из многочисленных спецгрупп, нацеленных на захват польских архивов – конечно, не польских ЗАГСов или комбинатов бытового обслуживания, а контор гораздо более серьезных. Взяли мы тогда немало – эвакуировать их полякам было, собственно говоря, и некуда, с запада вплотную подступали немцы, а уничтожать в царившем у них тогда бардаке не удосужились. Так что материалы местной дефензивы вполне могли лежать в Москве, годные к употреблению. Москва еще дала указание: наблюдение за Кропивницким и его разработку продолжать, а при необходимости действовать по обстоятельствам – одна из стандартных формулировок для подобных случаев...

Вот мы и разрабатывали, что сводилось исключительно к постоянному наблюдению – других оперативно-разыскных мероприятий, как мы уже убедились, попросту пока что не существовало. Наблюдение не дало ровным счетом ничего интересного и уж тем более подозрительного: часовщик, подобно многим его возраста, жизнь вел размеренную и совершенно скучную. Утром отправлялся в мастерскую в одно и то же время, хоть часы по нему проверяй. Обедая всегда в одном и том же месте, в маленьком кафе некоего Пачуры, сохранившемся со времен немецкой оккупации (власти намеревались и его национализировать, но пока что руки не дошли, были дела поважнее вроде восстановления колхозов и пуска единственного в Косачах промышленного предприятия, пивного заводика, заброшенного с приходом немцев). Гостей у себя принимал и в гости ходил очень редко – всегда с пани Анелей к таким же семейным парам. Единственным его приятелем был, как мы совершенно точно установили, поминавшийся в анонимке Липиньский. Встречались аккуратно, по вторникам и воскресеньям, немного выпивали, долго играли в шахматы (оба оказались заядлыми любителями сей благородной игры). Ну разве что по вызовам он ходил совершенно непредсказуемо, когда уж позовут.

Вот кстати, о вызовах. Чтобы составить о нем некоторое представление, я сначала хотел зайти к нему в мастерскую, принести починить сломанные наручные часы (долго ли такой



реквизит обеспечить?), но по размышлении придумал вариант получше. На втором этаже у нас в одной из комнат стояли напольные часы в затейливом резном футляре, судя по клеймам, сделанные в Германии еще в девяносто четвертом году. Что-то с ними было крепенько не то, стрелки крутились без всякой связи с реальным временем. Двое солдат в два счета отволокли их ко мне в кабинет, потом один из них сходил за Кропивницким. Ручаться можно, часовщик ничегошеньки не заподозрил: еще один советский офицер, еще одни сломанные часы, еще одно военное учреждение без вывески и с часовым у входа – дело совершенно житейское...

Пришел солидный дядя, именно такой, каким мне его в первый же день описали оперативники: в стареньком, но чистом отглаженном костюме, при галстуке, тронутой сединой окладистой бороде и чеховском пенсне со шнурочком, в золотой оправе. С черным саквояжем, какие еще до революции и до сих пор носили иные старые врачи.

В общем и целом он на меня произвел хорошее впечатление: несуетливый, немногословный (часовщики из тех, кто за работой не болтает), без тени подхалимажа. Часы починил быстро, так что они с тех пор шли безукоризненно, а вдобавок по моей просьбе отключил бой, чтобы не громыхали что ни час – не было смысла волочь часы назад, они в той комнате были совершенно ни к чему, мы там устроили оружейку. Американскую тушенку (знаменитый «второй фронт») и шоколад той же национальности взял без отнекиваний, со спокойным достоинством хорошо сделавшего работу мастера, знающего себе цену.

Чистого любопытства ради я поставил на стол шахматную доску, расставил фигуры согласно задаче из довоенного шахматного журнала (сам я не большой любитель, редко играю, а журнал взял у капитана Карцева, как и шахматы (вот он был большой любитель, возил с собой и доску, и стопку журналов)). Кропивницкий шахматы срисовал сразу, но лишь закончив работу, спросил, играю ли я. Я ответил, в общем, чистую правду: играю редко, но вот от нечего делать решил поставить задачу, про которую говорится, что черные начинают и выигрывают в четыре хода. И поинтересовался, что он скажет, – я же вижу, что к шахматам он с самого начала приглядывался с большим интересом, так что явно играет много. Кропивницкий скромненько так сказал, что «поигрывает», присмотрелся к фигурам – и в какую-то минуту решил задачу, хотя и говорил, что такая ему раньше не встречалась. Именно что вlepил белым мат в четыре хода – а ведь в журнале писалось, что задача из сложных, что ее в прежние времена играли на европейском чемпионате два каких-то знаменитых гроссмейстера...

Словом, не будь анонимки, он бы для меня выглядел симпатичнейшим человеком. А применительно к данному конкретному случаю я для себя быстро сделал вывод: если это и в самом деле затаившийся вражина, враг не из мелких, серый волчище. Шахматы придают особенную остроту уму, мне уже с такими волчищами – серыми хвостиками, отличными шахматистами, приходилось сталкиваться...

Четыре дня прошли скучно, без всяких сюрпризов, а потом – грянуло! Меня вызвал подполковник Радаев. У него сидел старший лейтенант Воронин, старший группы по разработке часовщика. Радаев сказал, что Воронин пришел кое с чем крайне интересным, но пока не докладывал, говорит, мне тоже будет интересно послушать.

Оказалось, интереснее некуда! Никак нельзя сказать, что я был ошеломлен, я не зеленый стажер вроде Петруши, но все же новость меня малость удивила. Воронин говорил: теперь, когда прошло четыре дня, у него не осталось никаких сомнений, что Кропивницкий, мирный и безобидный часовых дел мастер, в свое время был весьма даже профессионально обучен выявлять слежку за собой. Подозрения у Воронина возникли в первый же день, а потом превратились в уверенность. Часовщик засек наших в первый же день – а ведь они все поголовно были не лопухи. Оторваться от наблюдения ни разу не пытался (в Косачах это было бы бессмысленно), но всякий раз, оказавшись на улице, проверялся грамотно, хватко, без примитивных штучек вроде завязывания шнурков, есть способы искуснее, которые опытный оперативник определит быстро...

Верить Воронину следовало безоговорочно – служил два с половиной года, начинал еще в особых отделах, за это время ничего из порученного не провалил. На отличном счету, матерый разыскник. Четыре боевых ордена и три медали, из них одна польская – он в свое время был среди тех, кто помогал полякам ставить свой Смерш. Так что верить ему следовало безоговорочно, ошибиться никак не мог...

Это решительно меняло дело. Конечно, так и оставалось неизвестным, есть ли мирный часовщик капитан дефензивы Барей, но факт тот, что Кропивницкий хорошо учен хитрым премудростям, с какими обычный обыватель никогда не столкнется всю свою сознательную жизнь. Отсюда логично вытекает следующий вопрос: если он знает, что за ним четыре дня ходят хвосты, не попытается ли смыться в неизвестность, необязательно под покровом излюбленной авторами приключенческих романов темной ночи? Иные на его месте так и поступали.

Должен понимать: неспроста его плотно водят ровным счетом четыре дня...

Радаев приказал арестовать его немедленно, все равно, сидит он в мастерской или пошел на вызов (он в таких случаях всегда записывал в журнал, куда именно пошел). Взять с максимальной осторожностью – вдруг он неплохо учен и стрельбе и, видя, что запоролся, решит уходить с боем...

Воронин с двумя своими ребятами аккуратненько взял его в мастерской, не встретив сопротивления. На этом группа по разработке Кропивницкого прекратила свое существование по причине полной в ней более ненужности, и все дальнейшее легло на наши с Петрушей могучие плечи. Мне дали толковых людей, они провели обыски в мастерской и на Липовой, в доме. В мастерской не обнаружилось ровным счетом ничего интересного. В доме поначалу тоже. Документы в столе нашлись самые безобидные: довоенный польский паспорт с немецким регистрационным штампом, костельное свидетельство о браке, выданное в местной парашии<sup>13</sup>, патент от городских властей на открытие часовой мастерской, несколько бумаг касавшихся мастерской, купчая на дом, немецкое разрешение на велосипед (без такого разрешения, выдававшегося отнюдь не автоматически, поляк ездить на велосипеде и владеть таковым не имел права). Всё. Никаких писем, единственная фотография изображает Анелю в подвенечном платье и Кропивницкого в черной паре, с цветочком в петлице. Ну и еще пачка бумаги, где листы испещрены буквами и цифрами (специалисты меня потом заверили, что это не шифровки, а всего-навсего записи шахматных партий).

Было в этом нечто сугубо неправильное. Понятно, почему нет ни единой советской справки – ну, например, о том, что пан Кропивницкий не эксплуататор трудового народа и не тунеядец, а благонамеренный член артели «Красный маятник». Эта и другие советские справки просто обязаны были у него накопиться за полтора года, как должен был появиться и советский паспорт с пропиской.

Ну, это не ребус, мы с таким уже сталкивались – многие здесь с приходом немцев на всякий случай, «страха ради иудейска», побросали в печку все выданные советской властью бумаги, сохранив лишь польские довоенные. Неправильно как раз другое: не было ни единой польской бумажки, выданной бы до появления Кропивницкого в Косачах. Не было бумаги о крещении, до революции заменявшей свидетельство о рождении. Не было свидетельства об образовании – а ведь он должен был где-то учиться. Не было документа об отношении к воинской повинности. Наконец (и, пожалуй что, «во-первых»), не имелось свидетельства о получении профессии часовщика, которое просто обязано быть, без него не выдали бы патент на мастерскую. Специалисты мне объяснили: независимо от того, закончил ли Кропивницкий соответствующие курсы или постигал мастерство в подмастерьях у хозяина большой мастерской, такое свидетельство он был обязан иметь. В точности как я обязан иметь офицерское удостоверение личности с фотографией и печатями...

<sup>13</sup> *Парафия* – в Польше дом приходского ксендза, служивший чем-то вроде церковной канторы.

Короче говоря, выглядело все так, словно пан Кропивницкий летом тридцать четвертого в возрасте сорока с половиной лет свалился с Луны без единого документа о прошлой жизни. В реальности такого не случается, в первую очередь оттого что на Луне жизни нет и люди оттуда падать не могут. Тут что-то другое, совершенно не имеющее связи с Луной и касающееся исключительно нашей грешной земли. Но подсказал бы кто, в чем здесь разгадка...

Забегая вперед: никакой ясности не внес и довоенный польский паспорт, выданный в феврале тридцать четвертого года (ну, с Луны свалился персонаж!). Фотография, несомненно, Кропивницкого, тоже с бородой, правда, без пенсне. Десять лет – не двадцать девять, как у Кольвейса, так что Кропивницкий узнается легко. Специалисты не нашли в паспорте следов подчисток и помарок, равно как и переклейки фотографии. По их глубокому убеждению, это был самый что ни на есть доподлинный польский паспорт, выданный соответствующей государственной конторой.

(Вообще-то у сотрудников дефензивы и некоторых других контор бывало не по одному имени и не по одному доподлинному паспорту, но подтвердить эту версию пока что было нечем. Паспорт был выдан в воеводстве, по-нашему, в областном центре. Мы отправили туда коллегам соответствующий запрос и фотографию Кропивницкого, но ответа еще не получили.)

Нечто гораздо более интересное отыскалось в потайном ящике комода. Шестьдесят четыре золотые монеты, в основном царской и кайзеровской чеканки, но были и одиннадцать французских двадцатифранковиков и даже два английских соверена. Сто восемнадцать польских серебряных монет с Пилсудским и королевой Ядвигой. Ухоженный пистолет «Вис» выпуска тридцать третьего года (отличная польская довоенная машинка, скопированная с американского «кольта»), три пустые обоймы (пистолет был не заряжен) и полсотни патронов в полотняном мешочке. Три довоенные польские награды – крест двадцатого года за Львов с соответствующей гравировкой (я и раньше видывал такие), крест четвертой, низшей степени польского военного ордена «Виртути милитари» и бронзовая медаль в честь десятилетнего юбилея Польши. И никаких документов, кроме одного-единственного удостоверения к юбилейной медали, выписанного на имя Ендрека Кропивницкого...

Пожалуй что очередная загадка – касавшаяся исключительно наград. Самое занятное, пистоль сам по себе не был ни уликой, ни компроматом. Война. На ее протяжении у массы мирного народа, никак не связанного ни с нашими партизанами, ни с «дубравниками», ни с аковцами, ни с прочими разновидностями збройного<sup>14</sup> подполья, осело немало оружия, причем не только пистолетов – случалось изымать у хуторян и деревенских и винтовки, и «шмайсеры». Это общая тенденция: во времена войн и прочих серьезных смут народец втихомолку запасается оружием на всякий пожарный...

И военные награды – тем более не компромат, даже если допустить (учитывая «львовский» крест), что Кропивницкий воевал в двадцатом против Советской России. Обычных солдат этой войны наши не искали и не трогали, грабастали только тех, кто был уличен в репрессиях против пленных красноармейцев, коммунистического подполья или мирного населения «кресов восточных»<sup>15</sup>. Да и немцам, по большому счету, плевать было на тех, кто когда-то воевал с «большевиками» (а также тех, кого отлавливали наши).

И уж тем более не компромат – юбилейная медаль, которую, как это всегда с юбилейными медалями водилось, получило превеликое множество самого разного народа, от генералов до почтальонов. Причем для этого вовсе не нужно было иметь каких-то особых заслуг перед государством вроде участия в войне двадцатого года или строительства авиазавода, каких в Царстве Польском при царе не было. Часто достаточно было тому же почтальону усердно разно-

<sup>14</sup> *Збройный* – вооруженный (польск.).

<sup>15</sup> Восточными кресами (восточными землями, «кресами восточными») в довоенной Польше именовались Западная Украина и Западная Белоруссия, оккупированные поляками в 1920 г. и возвращенные СССР в 1939 г.

силь в любую погоду газеты и письма. Как гласила в царской России одна из формулировок, «За безупречную службу», и даже медаль была с таким названием.

(Так сложилось, что мне это известно на собственном опыте. Свою первую награду, медаль «XX лет РККА», я получил в декабре тридцать девятого за то, что неплохо себя проявил в составе упомянутой особой группы по розыску иных польских архивов. В РККА я к тому времени прослужил лишь четыре с небольшим года, считая от зачисления в училище. И таких было немало, получивших эту медаль за какие-либо отличия в службе.)

И наконец, уж безусловно, не считались компроматом монеты в тайнике: с тех пор, как придумали деньги, предусмотрительные люди их старательно копили на черный день – кто имел такую возможность, серебро и золото, народ победнее набивал кубышки медяками...

Арест Кропивницкий воспринял довольно спокойно, не возмущался, не вопрошал, по какому такому праву берут невинного, не качал права – возможно, был фаталистом. Точно так же он держался на допросе, который провел я ближе к вечеру. Допрос получился коротким: об анонимке я не упомянул ни словечком, а кроме нее, ничего противозаконного за ним не числилось, если не считать пистолета. Вот от него я и плясал: как ни крути, а часовщик нарушил приказ военной комендатуры о сдаче оружия (и далеко не он один). Откуда дровишки? Кропивницкий спокойно объяснил, что пистолет и патроны в прошлом году приобрел из-под полы на рынке за три золотые царские десятки. Вполне убедительно, все обладатели оружия так и поступали – либо покупали на рынке из-под полы, либо променивали на что-нибудь хорошее. (У одного зажиточного хуторянина наши выгребли даже не «шмайсер», а немецкий пулемет МГ-42 с тремя коробами патронов, выменянный на самогон и ветчину. Обстоятельно дядько подготовился к возможным житейским невзгодам...)

Я поинтересовался еще, не делая на этом особого упора, чем он занимался до того, как осел в Косачах, заметив вовсе уж вскользь: как-то интересно так вышло, что у него нет никаких документов о прошлой жизни.

Он и тут отвечал спокойно и охотно. Родился в девяносто четвертом в воеводстве, там окончил гимназию и по давней к тому склонности поступил подмастерьем к самом крупному в городе часовых дел мастеру Шимону Кравцу, через год получил свидетельство мастера, еще пять лет проработал у Кравца, а там и завел собственную мастерскую, причем еще за три года до того женился на младшей дочери Кравца, так что без помощи тестя явно не обошлось. С женой жили хорошо, разве что детей Бог не дал. И дела шли неплохо. Вот только в январе тридцать четвертого в их домике приключился пожар. Сам Кропивницкий был в мастерской, а вот крепко спавшая жена задохнулась от дыма, и, прежде чем примчались пожарные, огонь изрядно похозяйничал в домике, уничтожил в том числе и все документы.

После гибели жены Кропивницкий не мог оставаться в городе, так что, выправив новый паспорт взамен сгоревшего, перебрался километров на полсотни южнее, в Косачи – по совету кого-то из приятелей родом отсюда. И не прогадал – дела шли хорошо до самого недавнего времени, от немцев не пострадал, погоревав, женился во второй раз, приобрел домик с большим огородом, ставшим немалым подспорьем во времена оккупации. Политических убеждений не имеет никаких, зарабатывать на жизнь, содержать жену и дом – вот и вся его политика...

Если это легенда, то, надо признать, железная. Во всяком случае, у меня не было ничего, позволявшего бы подвергнуть сомнению хотя бы какую-то ее часть. Разумеется, следовало сообщить нашим коллегам в том городе, чтобы проверили и эти сведения, но пока что ничего не предпринимать...

Отношения с немцами? Они сводились исключительно к тому, что Кропивницкий чинил им часы в мастерской и в конторах. Ни с одним немцем не был знаком, и в гостях они у него никогда не бывал, что подтвердят соседи.

Ну а награды? Он и здесь отвечает охотно: оба креста им получены за двадцатый год, когда его мобилизовали и он участвовал в войне до заключения мира. Никаких грехов на сове-

сти не имел, воевал простым пехотинцем – а он точно знает, что Советы и никогда не преследовали рядовых жолнежей<sup>16</sup> той кампании. Награды прятал даже не от нас, а от немцев – та война была не против немцев, но кто знает, что им могло стукнуть в голову, найди у него военный крест. Немцы людей щемили очень разнообразно – например, запрещали полякам в генерал-губернаторстве<sup>17</sup> есть белый хлеб (тут он опять-таки говорил чистую правду, я и сам об этом знал). А тут – польские боевые награды...

Снова весьма правдоподобно, при отсутствии реальных доказательств опровергнуто быть не может...

Больше его расспрашивать было не о чем, не имея ровным счетом никаких дополнительных сведений. Так что следующие четыре дня он смиренхонько сидел в одиночке, и пани Анеля с нашего разрешения дважды приносила ему передачи. Такие разрешения в подобных случаях мы давали отнюдь не из гуманизма – порой в харчишках обнаруживался, как выражались наши коллеги на Украине, грипс<sup>18</sup>. Так что, прежде чем отдать передачу часовщику, наши ее старательно потрошили – резали колбасу на тонкие ломтики, раскромсали пирог с капустой, проверили табак в пачке. Лишь вареные яйца удостоили только визуального осмотра – уж в них-то записку спрятать затруднительно...

Грипис обнаружился только один раз, свернутая в крохотную трубочку бумажка, насквозь неинтересного содержания. «Енджечку, каждый день буду молиться Пресвятой Богородице, чтобы красные тебя выпустили». На всякий случай записку все же конфисковали – а вдруг это своего рода шифровка?

Одним словом, Кропивницкий валялся на нарах и лопал пирог с капустой, а я ждал у моря погоды...

Теперь – сошахматист (употреблю это словечко собственной выдумки по аналогии с «собутыльником») Кропивницкого Липиньский. Вот с этим обстояло где-то гораздо проще, а где-то – и сложнее...

Касаемо Кропивницкого, были основания выдвинуть недоказуемую пока что версию, что он безбожно врет, что он необязательно Ромуальд Барей, но до тридцать четвертого года носил другую фамилию, да и биография, не исключено, была чуточку другой (хотя в том, что он настоящий, без дураков, часовой мастер, сомнений не было). Под этой другой фамилией он, вполне могло оказаться, как раз и наворотил что-то, вызвавшее бы наш самый пристальный интерес, а потому никакого пожара не было, и он сам уничтожил все документы и прочие бумаги, где эта фамилия стояла. Хватало прецедентов.

Вот уж кто казался прозрачным, как чисто вымытый хрустальный бокал!

Самый что ни на есть коренной житель Косачей, которого здесь, как говорится, знала каждая собака. Здесь родился (отец русский, мать полька, крещен в православии, та же ситуация, что у генерала Деникина – ни в какой степени не компромат). Здесь окончил гимназию, после чего два года учился в медицинском училище в Минске, где в пятом году (он с восемнадцати шестого) получил диплом фармацевта. Если не считать этих двух лет, все остальное время он прожил в Косачах, очень редко выезжая в воеводство исключительно по служебным делам. Ну что ж, бывают такие домоседы...

Вполне возможно, ему как раз нравилось сонное царство наподобие Косачей. А это, как мне рассказали, было натуральнейшее сонное царство. Бурные события девятисот пятого года городишко обошли стороной – разве что однажды кто-то застрелил полицейского пристава, но не было ни малейших доказательств, что это сделали революционеры, могли постараться

<sup>16</sup> *Жолнеж* – солдат (польск.).

<sup>17</sup> Генерал-губернаторством немцы именовали часть оккупированной ими Польши (часть была включена в состав гитлеровской Германии).

<sup>18</sup> *Грипис* – укрытая в продуктах или в одежде маленькая записка, иногда шифрованная.

и уголовники, водившиеся и в сонном царстве. В семнадцатом году вдоволь помитинговали солдаты расквартированного в Косачах пехотного полка, но в противоположность тому, как это бывало в других местах, обошлось без погромов и беспорядков, если не считать того, что со склада пивного заводика (существовавшего уже тогда) солдатики унесли все запасы пива (конечно, забесплатно). В восемнадцатом заскочила банда какого-то батьки (которых тогда было как блох на Барбоске), но особенно покуролесить не успела, разве что выгребла из аптеки весь спирт – времена стояли относительно вегетарианские, пружина зверств еще не раскрутилась на всю катушку, да и банду уже через два дня вышиб из Косачей красный отряд.

В двадцатом (и до тридцать девятого) эти места попали «под пана». Вот тут притеснения обозначились: как и в других местах, новые хозяева здесь поселили так называемых осадников, крепких кулаков, чистокровных ляхов, свою опору на «кресах восточных». И чтобы обустроить им этикие латифундии, отобрали у здешних крестьян больше половины пахотной земли (которой здесь и так было мало) – конечно, как легко догадаться, зная повадки панов, лучшую ее часть. Ну что же, когда пришли наши, крестьяне, не дожидаясь указаний сверху, восстановили справедливость...

В оккупацию Косачи, если судить по общебелорусским меркам, пострадали прямо-таки микроскопически. В Белоруссии немцы (в компании своих цепных псов, украинских и эстонских полицейских батальонов) лютовали вовсю. Уже после войны подсчитали – погиб каждый четвертый белорус. Но здесь все было иначе. Немцы, сволочи кровавые, кое-где на оккупированной территории вели очень хитрую политику. В Брянской области создали даже целый район, пышно поименованный «Локотской республикой». Всю власть, и военную, и гражданскую, отдали своим местным прихвостням (за которыми, конечно, зорко наблюдали издали). И это была вовсе не оперетка – «армия» в несколько тысяч человек с несколькими танками и броневиками, воевавшая с партизанами, «свобода частной инициативы», полдюжины «независимых газет» и тому подобные недетские игры.

Примерно так было и в Косачах, где немцы создали эту витрину – «вольный город», управлявшийся «настрадавшимися под большевистским игом белорусами». Рулила жизнью города и окрестных деревень городская управа, где ни одного немца не имелось, но при этом немцы в штатском и разнообразных мундирах обитали тут же, вот только «дружеские советы» своим шестеркам давали с глазу на глаз, за закрытыми дверями, а не на публике. Выходили три газеты на белорусском, работала аптека, начальная школа, больничка, даже городской театр и кинотеатр. Танков и броневиков на вооружении у здешних полицаяв не было, и было их не несколько тысяч, а человек триста, но немецкие части, в отличие от «Локотской республики», здесь стояли. А чтобы создать видимость «братства по оружию», по улицам шлялись смешанные патрули: на парочку фельдшандармов – два-три «дубравника».

Не было и особого террора. За все время оккупации немцы публично повесили, расстреляли и увезли в неизвестном направлении лишь сто тридцать с лишним человек – при населении городка тысячи в три (близких родственников партизан, пойманных партизанских связных, советских активистов). Причем и арестовывали, и вешали не сами немцы, а «бобики».

Иногда наезжали штатские немцы с киноаппаратами и фотокамерами. Снимали городской рынок, действующие церкви, идущих в театр горожан, а потом в немецких газетах появлялись трескучие репортажи о процветании «вольного города»...

И уполномоченный НКГБ, и те двое бывших партизан, досадливо морщась, говорили мне с глазу на глаз, что такая немецкая политика определенную роль сыграла. Не было здесь той ненависти к немцам, что пылала в других местах, где оккупанты отметились массовыми расстрелами мирных жителей и пожарищами. Здесь от немцев не видели лютости, а что творится в других местах, горожане знали плохо, к тому же следовало учесть местную специфику – при советской власти Косачи с окрестностями жили всего-то два неполных года. Даже все выходки «квакиных» на них самих и списывали («такие уж разгульные хлопцы»), как-то упус-



кая из виду, что это немцы их сделали безнаказанными. Эта особенность местного сознания повлияла и на подпольно-партизанское движение – и в подполье, и в действовавшем в здешних местах партизанском отряде «Великий октябрь» очень мало, по сравнению с другими районами, было местных уроженцев – в основном жители изначально советской Белоруссии...

Я так подробно рассказываю об истории Косачей, чтобы пояснить, в каких непростых условиях приходилось работать, очень часто учитывать местную специфику. В освобожденных от немцев районах Советской России и Советской Белоруссии было, что греха таить, гораздо легче. Черт, мне иногда казалось, что я оказался за границей, хотя люди говорят на том же языке. Впрочем, нечто похожее я испытывал и осенью тридцать девятого. Мы тогда действовали километрах в ста севернее Косачей, но все равно порой ощущения были те же самые, в точности...

Теперь о Липиньском. В некоторых отношениях с ним было гораздо проще – в отличие от Кропивницкого, вся его жизнь прослеживалась четко, словно под рентгеном. В девятьсот пятом стал работать в здешней аптеке провизором, а через девять лет стал заведующим, на каковом посту и оставался при всех сменявших друг друга властях, вплоть до сегодняшнего дня. Абсолютно аполитичный человек. С немцами сотрудничал исключительно в рамках своей должности, в сорок втором году вежливо, но решительно отказался, когда ему предложили стать в управе, по нашим меркам, начальником райздравотдела. Сказал, что ни малейших способностей к административной работе не чувствует и не сможет наладить дело должным образом (возможно, это была и не отговорка, от аналогичных предложений он отказывался и при поляках, и после прихода наших).

Классический старый кавалер<sup>19</sup>, как выражаются поляки. Женат никогда не был, в связях с женщинами не замечен (впрочем, с мужчинами тоже). Один из информаторов НКГБ, ровесник фармацевта, упоминал, что у него еще до революции была какая-то сердечная драма, вроде бы девушка, в которую он был безумно влюблен, предпочла ему другого, вот Липиньский и остался вечным холостяком. Разрабатывать эту линию никто не стал – к чему? Очень редко, но такое случается не только в романах, но и в жизни...

Никаких компроматериалов, позволивших бы зачислить его в немецкие пособники. Даже наоборот. Постоянных связей с подпольем не поддерживал, но в сорок третьем неделю прятал у себя легко раненного партизанского связного, что было делом смертельно опасным. И не выдал, парень и сейчас жив, после освобождения приходил Липиньского благодарить.

Я промолчал, но потом с ноткой здорового цинизма подумал, что сам по себе этот факт еще ничего не доказывает. Во-первых, гитлеровцы могли оформить все так, чтобы на Липиньского не пала и тень подозрения – скажем, устроить повальный обыск всех домов на той улочке. Правда, они этого не сделали. Во-вторых... У тайной войны свои законы. По большому счету, обычный партизанский связной – не велика добыча. Могли и посмотреть на него сквозь пальцы – подобное практиковали порой и немцы, и мы, чтобы агент заслужил больше доверия...

Жил через два дома от аптеки в пятикомнатной квартире, оставшейся от родителей, где наверняка будет обитать и дальше: это в Советской России его быстренько уплотнили бы, а здесь своя специфика, попросту не было достаточного количества людей, нуждавшихся бы в улучшении жилищных условий (Косачи лежали в стороне от больших дорог, и гражданских беженцев здесь практически не было).

Много лет его хозяйство вела, по-нашему говоря, домработница, а по-здешнему экономка. Как водится, насчет нее и аптекаря лениво сплетничали, но толком никто ничего не знал. Месяца за полтора до освобождения она умерла от какой-то тяжелой болезни, однако Липиньский прожил в одиночестве недолго: то ли в последние дни перед уходом немцев, то ли через несколько дней после нашего прихода у него поселилась девчонка Оксана, шестнадцати

<sup>19</sup> Кавалер – холостяк (польск.).

лет, родственница, вроде бы дочка его двоюродного брата, приехавшая откуда-то издалека, кажется, из Гродно. Она с разрешения облздравотдела стала временно работать продавщицей в аптеке. Немцы аптеку не закрыли, но отправили на все четыре стороны и провизора (умер в сорок втором), и продавщицу (уехала к родичам в деревню и пока что не вернулась, оставив «на хозяйстве» одного Липиньского. Вообще аптеку они снабжали очень скудно, самыми дешевыми и простыми лекарствами и медикаментами вроде порошков от головной боли, йода и скверной ваты. Вновь организованный облздравотдел снабдил аптеку лекарствами по довоенным меркам (насколько удалось в военное время) и собирался восстановить довоенный штат. Конечно, этой Оксане следовало бы не за аптечным прилавком стоять, а учиться, но со здешней школой пока что обстояло не лучшим образом: директор и оба преподавателя сбежали с немцами (некоторые говорили, что их угнали насильно, как порой немцы с мирным населением поступали), новых пока что не было, и школа не работала...

Итог? Итог печальный: мы в тупике. У нас ничего нет на Липиньского, если не считать анонимки. Нет смысла не то что его арестовывать, но и устраивать у него обыск – а если не найдем ровным счетом ничего компрометирующего?

Кое-что отдаленно напоминавшее оперативно-разыскные мероприятия, я все же предпринял – оба раза у объектов это не должно было вызвать ни малейших подозрений. Сначала зашел днем в аптеку, купил пузырек йода и немного поболтал с откровенно скучавшей Оксаной (я там оказался единственным клиентом). Что же, красивая черноволосая девушка, выглядевшая на пару лет старше своих шестнадцати (разумеется, ее точного возраста мне по роли знать не полагалось). С девушками никогда ничего не известно, но у меня осталось впечатление, что кое в каких областях взрослой жизни она, как бы получше выразиться, ориентируется неплохо. Откровенно со мной кокетничала – нельзя сказать, чтобы вульгарно, но с ухватками вполне взрослой девушки. И кажется, была чуточку разочарована, когда я отклонялся, не назначив ей свидания. Ну да, снова местная специфика. Те шмары, что добровольно и по-взрослому путались с «квакиными» на их «явочных квартирах», тоже были годочков шестнадцати-семнадцати – это потом, на допросах (мы допрашивали тех, кто имел хоть малейшее касательство к абверовской школе и никак не могли обойти вниманием этих малолетних шлюшек), они распускали слезы и сопли, строили из себя этаких невинных первоклассниц, хотя там пробы ставить было некуда...

Подставить ей Петрушу, чтобы назначил свидание, порасспросил о том о сем? Парень видный, обаятельный, язык подвешен, к красивым девушкам дышит неровно. А смысл? Не тот случай. Не может же он у нее спросить: «Оксаночка, а что, твой дядюшка, часом, не работал ли немецким стукачом?» Идиотство было бы форменное. Рассуждая рационально, откуда ей о таком знать? Первый раз в Косачах она появилась только после освобождения, да и кто бы стал признаваться юной родственнице «А знаешь, Оксаночка, я при немцах с абверовцами путался»?

Назавтра, после того как доложили, что Липиньский (тоже чертовски педантичный, с устоявшимися привычками и маршрутами) вернулся домой после закрытия аптеки, я к нему на квартиру и отправился. Когда дверь открыла Оксана, разыграл удивление, и, смею думать, небездарно, кое-какой опыт лицедейства имелся, не всегда мы устраивали с клиентами лихие перестрелки, порой приходилось и актерствовать.

Легенда была железная: я – офицер комендатуры, и начальство мне поручило узнать, не нуждается ли в чем-либо аптека. Как я и рассчитывал, Липиньский документов спрашивать не стал (хотя у меня, кроме смершевского, имелось и другое удостоверение, где я значился просто офицером такой-то дивизии без указания конкретного места службы).

Липиньский сказал то, что я и без него знал – обо всем уже позаботился облздравотдел. И пригласил попить чаю. Я не отказался. Чай, конечно, был жиденький, но дареному коню в зубы не смотрят.

Немного поболтали о всяких пустяках. Я его не стал наводить на какие-то конкретные темы – кто бы подсказал, на которые следовало наводить? Не мог же я спросить в лоб: «Пан аптекарь, а как у вас при оккупации обстояло с потаенной работой на немцев?» Такого и зеленый стажер не допустит. И о Кропивницком расспрашивать не мог: откуда офицеру комендантуры вообще знать, что они с часовщиком много лет приятельствовали?

Оксана при нашей беседе не присутствовала, только принесла чай с самодельными местными конфетами, продававшимися на том же городском рынке (дрянь, конечно, но вряд ли ими отравишься). Несомненно, аптекарь жил бедновато, в отличие от приятеля-часовщика не имел возможности копить золотишко и даже серебришко. Иные аптекари на неоккупированной территории как раз ухитрялись, скажем так, обеспечить себе побочный приработок, но у Липиньского, даже если подумать о нем плохо, попросту не было таких лекарств, которые он мог бы втридорога сбывать из-под полы.

В присутствии дядюшки (неважно, родной он или двоюродный) Оксана со мной не кокетничала, но послала из-за его спины определенно женский взгляд – положительно торопилась жить девочка...

Как и с Кропивницким, я этот визит предпринял, чтобы лично составить об аптекаре некоторое впечатление. Что ж, составил. Интересное осталось впечатление. Вроде бы с ним все было в порядке: спокойный, словоохотливый, не чувствующий за собой никакой вины перед новой властью человек. И все же в нем – я не мог ошибиться – чувствовалась некоторая внутренняя напряженность, некая зажатость. Вот так с ходу при коротком разговоре о пустяках я ни за что не мог определить, чем она вызвана. Затаенный страх? Не исключено. Но в чем причина? Вообще-то я не впервые сталкивался с этим у местных – и у тех, кто не знал за собой ровным счетом никакой вины, при общении с советским офицером как раз и проявлялись напряженность, зажатость, легонький беспричинный страх. Трижды за последние пять лет здесь менялась власть, причем самым решительным образом: наши, немцы, снова наши. И перемены в обычном жизненном укладе всякий раз получались крайне серьезными. Начнешь тут бояться всего на свете...

Вот и всё. Я аккуратно завязал тощую папку с надписью «УЧИТЕЛЬ» и убрал ее в сейф. Не было смысла перечитывать все в двадцатый раз, а думать и ломать голову пока совершенно не над чем. Так что я с четверть часа сидел за пустым столом, лениво курил и смотрел от нечего делать, как размеренно ходил за стеклом громадный маятник – привет от Кропивницкого...

Потом дверь открылась, и вошел Петруша – не то чтобы с азартом на лице, но с несомненным оживлением, наблюдавшимися у него впервые за все время с тех пор, как нас бросили на это дело. Правда, руки у него были пустые – значит обещанные материалы еще не пришли, тут что-то другое...

Называл я его так, уменьшительным имечком, вовсе не оттого, что усматривал в нем нечто детское. Ничего в нем не было детского – здоровенный парень, двадцать четыре года, на фронте с февраля сорок второго, до ранения командир взвода полковой разведки, три ордена и три медали. Ничего детского. Просто так уж получилось, что он как две капли воды походил на Петрушу Гринева с иллюстрации к довоенному изданию «Капитанской дочки» из нашей училищной библиотеки. Вот я и прозвал его Петрушей и объяснил почему. Он все понял и не обижался.

Это его оживление внушало определенные надежды, что сдвинулось что-то с мертвой точки, и я спросил:

– Есть новости, Петруша?

– По нашему делу – ничего. Тут другое. Товарищ подполковник велел немедленно выехать в Косачи.

– Ага, – сказал я. – Проявлю-ка я нечеловеческую проницательность. Коли уж мы и так в Косачах, речь идет не о городе, а именно что о палаце?

– Ну да, – сказал Петруша, ничуть не пораженный моей «нечеловеческой проницательностью» – это было все равно что сложить два и два, – «Виллис» я уже подогнал ко входу.

– Случилось что-то?

– Представления не имею, и подполковник не знает. Капитан Седых звонил дежурному. Сказал, у них там безусловно не ЧП, но какое-то происшествие случилось. А поскольку мы...

Он не договорил, пожал плечами, но я его прекрасно понял. Поскольку рота из отдельного разведбата, временным командиром которого и был Федя Седых (и, по достоверной информации, вот-вот будет утвержден командиром полноправным), занималась там кое-чем, как раз и связанным с делом «Учитель», кому, как не нам, выезжать на происшествие. Вот только что могло стрястись в этой сонной глуши? Ладно, что бы ни стряслось, лучше ехать на происшествие, чем сидеть в кабинете и тупо смотреть на маятник...

Я встал, убрал в левый нагрудный карман гимнастерки сигареты с зажигалкой и снял с крючка фуражку с вошедшим недавно в моду длинным козырьком. «Шмайсер» с другого крючка забирать не стал – спокойные были места, да и ехать от городской окраины километра два, не забираясь в чащобу. Настоящая чащоба начинается километрах в десяти от городской околицы.

## Ночные гости

С тех пор как я впервые приехал в Косачи, город на меня производил странное впечатление, ничуть не ослабевшее за прожитый здесь месяц.

Город был несоразмерный его жителям. Если подыскивать подходящее сравнение, больше всего он напоминал малолетнего карапузика, напялившего взрослую солдатскую каску.

Очень многие дома и жилые, и разнообразные склады, и объекты культуры вроде театра, гостиниц и ресторанов были порой не просто большими, громадными, никак не подходившими к нынешним Косачам с тысячами тремя жителей. Трехэтажное здание бывшей городской управы с колоннами, башенками и вычурными балконами подошло бы даже не областному центру – столице немаленькой республики. И так далее. Причем построено все было на века, из отличного кирпича и хорошего камня, так что даже те дома, что не один десяток лет простояли пустыми (были и такие), вовсе не выглядели тронутыми разрушением, хотя часто стекол в окнах не было, а крыши прохудились.

И снова – специфика Косачей. После последнего раздела Польши и присоединения этих земель к Российской империи именно через Косачи проходил большой тракт Варшава – Санкт-Петербург, по которому туда и оттуда возили превеликое множество разнообразных товаров и пролегал путь перевозки пассажиров и почты. Так что город, даже не уездный, был крупным торговым центром с большой ежегодной ярмаркой, и в пору расцвета здесь обитало вдесятеро больше народу, тысяч тридцать.

Потом процветание обрушилось. Через несколько лет после освобождения крестьян проложили железную дорогу Варшава – Санкт-Петербург, до сих пор пролежавшую километрах в пятидесяти севернее. Везти по ней товары оказалось и быстрее, и дешевле, туда же отхлынули и путешественники, туда перебралась почта. В какие-то несколько лет город опустился до нынешнего своего убогого состояния...

Что интересно, мой добрый приятель Федя Седых увиденному нисколько не удивился. Оказалось, у них в Красноярском крае когда-то имела место быть схожая картина. В нескольких километрах севернее Красноярска лежал город Енисейск, и через него когда-то проходил главный тракт из Европейской части России. Переместившийся позже южнее, стал проходить через Красноярск, но все равно до самой революции губерния именовалась не Красноярской, а Енисейской. Федя говорил, что видел в Енисейске совершенно ту же картину: множество построенных на века большущих зданий, частично заброшенных. Захолустный райцентр и не более того...

Точно так же обстояло и с Церковной площадью, мимо которой мы как раз проезжали: не вплотную друг к другу, но в прямой видимости вздымались горделиво православный храм, католический костел и лютеранская церковь – опять-таки возведенные с нешуточным размахом. Православных и католиков в Косачах хватало до сих пор, так что оба храма работали (с приходом наших никто их не стал закрывать, не та была политика в отношении церкви), а вот лютеранскую кирху закрыли еще в начале века, когда лютеран практически и не осталось...

За городом Петруша прибавил газу, вскоре свернул с дороги с оживленным движением на узкую проселочную, где не попало ни встречных, ни попутных машин, не было ни единого человека. Вокруг была, конечно, не чащоба, но с обеих сторон к дороге вплотную подступали сосны и ели с редкими вкраплениями берез. Свежесть, запахи хвои, спокойная тишина... В таких местах плохо верится, что где-то не так уж далеко гремит война.

– Остановишь у спуска, – распорядился я. – У нас ведь не было приказа нестись сломя голову...

Вскоре он остановился у пологого спуска длиной примерно с полкилометра. Вид оттуда открывался великолепный, на несколько километров вокруг, и я им откровенно любовался – впервые был в этих местах.

Внизу, в полукилометре, почти сразу за спуском стоял не просто особняк – и в самом деле «палац», по-польски дворец, фамильное гнездо шляхтичей Косач-Косачинских, когда-то владевших всей округой, в том числе и землями, на которых расположился город Косачи. Громадное красивое трехэтажное здание постройки начала восемнадцатого века, с двумя крыльями, большими полукруглыми парадными лестницами и десятком кирпичных домиков вокруг – флигеля, конюшни и прочие службы, вплоть до псарни. В башенке над главным входом часы, опять-таки оформленные, как выразился бы Остап Бендер, с пошлой роскошью – светло-синий циферблат в человеческий рост, соответствующих размеров ажурные золоченые стрелки, золоченые вычурные цифры. Что ж, шляхтичи былых времен (подсеченные под корень вовсе даже не большевиками, а царской администрацией Александра Второго) знали толк в роскоши и денег на свои прихоти не жалели...

Стрелки уже восемьдесят с лишним лет как застыли на семнадцати минутах четвертого, неизвестно, дня или ночи – кто бы интересовался такими пустяками? С тех самых пор, как тогдашнего «старшего пана»<sup>20</sup>, ввязавшегося во второе польское восстание, лишили всей нажитой непосильным трудом недвижимости и со всей семьей определили в сибирскую ссылку, откуда он вернулся лет через пятнадцать, но ничего из конфискованного назад не получил, кроме двухэтажного дома в Косачах, по сравнению с палацем выглядевшего прямо-таки собачьей конурой. Там он, а потом его сын и обитали до семнадцатого года. Сын куда-то пропал после семнадцатого, внучка запропастилась в вихре революции и последующих бурных событий – вроде бы вышла замуж и приняла фамилию мужа, в точности никто не выяснял, не было такой надобности. Одним словом, род пресекся.

С тех самых пор палац и остался бесхозным. Земли перешли к новым владельцам, а вот на домину никто не польстился – во второй половине девятнадцатого века было бы чересчур накладно содержать этакую махину. Перед революцией здесь были постоем солдаты расквартированного в Косачах пехотного полка, немцы устроили здесь склад боеприпасов, а в остальное время палац был необитаем, так что, понятное дело, никто не озаботился починить часы или хотя бы забрать в музей циферблат. В городе ходили вялые слухи, что в палаце обитает привидение кого-то из старых Косач-Косачинских, а где-то в подземельях зарыт клад, но никто никогда не искал клада и не стремился проверить рассказы о привидении. Слишком много таких легенд кружит о старинных зданиях, и насчет призраков, и насчет кладов, но если они, как в данном случае, вялые и особого распространения не получают, ни к каким конкретным действиям не приводят. (Когда мы занялись и палацем, нам подготовили краткую справку о его истории, а заодно и по последним Косач-Косачинским.)

Вокруг палаца далеко раскинулся парк из вековых лип (явно завезенных когда-то сюда из других мест, сами по себе липы в этих местах не росли). Неподалеку от палаца идиллически протекала неширокая медленная речушка с прозрачной водой (Федя Седых говорил, они там ловили и рыбу, и раков). Наличествовали и кое-какие приметы уже обустройства военных лет: вокруг палаца почти безукоризненным кругом шла просека, деревья убраны, а по просеке тянется ограда выше человеческого роста из колючей проволоки на аккуратно вытесанных кольях (очень может быть из тех самых срубленных лип). Это уже немцы постарались, когда устроили здесь склад боеприпасов: просека шириной метров в пять, ограда, высокие деревянные ворота (обе створки со времени драпа немцев так и остались распахнутыми, и меж ними уже выросла трава).

---

<sup>20</sup> *Старший пан* – в Белоруссии когда-то старший по возрасту (или в силу наследственного права) глава того или иного шляхетского рода.



А это уже наше обустройство: аккуратным рядком вытянулись семь больших, выцветших армейских палаток, способных вместить взвод солдат (одна из них, надо полагать, продсклад). Восьмая гораздо меньше – явно для офицеров. Тут же дымит полевая кухня (ну да, время к обеду), и тут же – немаленькая поленница. У ворот стоит «Виллис», должно быть, Федин. Людей не видно, все, нечего и гадать, заняты делом. Тишина, безоблачное небо, солнышко светит, речушка поблескивает, отменный пейзаж, палац – благодать, курорт...

– Поехали, Петруша, – сказал я, притушив окурок о подошву сапога – трава еще не сухая, но с огнем надо быть аккуратнее.

Он кивнул, включил мотор и на малой скорости стал спускаться в низину – спуск был пологий, но все равно не было никакой надобности нестись во весь опор...

Сам я палацем не занимался, но так уж вышло, что он вошел в круг моих интересов – пока не доказано обратное, есть основания подозревать, что имеет прямое отношение к делу «Учитель». О чем мне сразу сообщил подполковник Радаев. Кто-то в армейском управлении высказал толковую, в общем, идею: а что, если архив абверовской школы, коли уж он здесь, упрятан как раз в палаце? Это гораздо рациональнее, чем зарывать где-нибудь в лесу согласно классическому методу приключенческих романов «Сто пятьдесят шагов на восток от кривой сосны». И уж гораздо надежнее, чем прятать где-нибудь в городе. В этакое домино нетрудно подыскать место для тайника. К тому же обеспечить секретность гораздо легче: на немцев, копающихся в лесу или вносящих ящики в мирное городское здание, обратят внимание. На склад боеприпасов ежедневно приезжало и уезжало множество грузовых машин, в том числе и крытых. Никто из немцев, исключая немногочисленных в таких случаях доверенных лиц, не обратил бы внимания ни на очередной грузовик, неотличимый от прочих, ни на самых обычных солдат, заносящих на склад самые обычные ящики, – дело житейское, каждодневное...

Своя сермяжная правда в этой версии была. Из армии спустили указание в дивизию, из дивизии – в полк. И вот уже третью неделю в палаце работала рота единого разведбата, взвод полковой разведки и саперный взвод. Пока безрезультатно (а параллельно такая же группа вела поиски на территории бывшей абверовской школы – тоже пока безрезультатно, но надежды мы не теряли: укрытый архив – материя интересная, тут возможны самые разнообразные варианты).

Когда подъехали совсем близко, я увидел, что живые люди здесь все же есть: у ворот прохаживался часовой с автоматом на плече, а у кухни, рядом с кучей свеженаколотых дров, возился повар в белом колпаке. Слева обнаружился еще один живой: не так уж далеко от ворот, за просекой, у крайних ее деревьев сидел на толстом пне солдат с карабином меж колен и курил «козью ножку». А совсем рядом с ним лежал какой-то продолговатый предмет, укрытый выцветшим брезентом. Что бы там ни находилось, солдат явно не был часовым – не такой уж и молодой: лет тридцати, с двумя медалями, безусловно не новобранец, прекрасно должен знать, что часовому, на каком бы посту он ни стоял, категорически запрещается сидеть и курить. Тем более светлым днем, в двух шагах от начальства. Значит, как это частенько бывает, кто-то из офицеров ему сказал что-нибудь вроде «Присмотри тут...»

Дальше все шло по привычному порядку: часовой подошел к воротам, окликнул меня, я назвалсся, он вызвал свистком разводящего, тот проверил мое удостоверение и сообщил, что капитан Седых назвал ему мою фамилию и предупредил о моем приезде. Так что я могу проходить, товарищ капитан вон в той палатке (и он указал на ту, которую я сразу определил как офицерскую). Я прошел в ворота, велел Петруше оставаться в машине – он мне был пока что без надобности.

Теперь было прекрасно видно, что ни в одном из многочисленных окон нет стекол, но и осколков битого стекла что-то незаметно в рамах. Походило на то, что стекла старательно вынули хозяйственные люди, вполне возможно, еще в прошлом столетии, когда разнеслась весть, что палац стоит заброшенный и власти не объявляли касательно него никаких запретов.

Оконное стекло – вещь в хозяйстве ценная и в иные времена весьма даже не дешевая. Видно было, как в некоторых комнатах ходят солдаты, простукивают стены (видимо, в подозрительных местах), слышались негромкие спокойные разговоры.

Я вошел в палатку без стука – в армии не стучатся, да и будь это в обычае, стучаться в палатку гораздо затруднительнее, чем в комнату. Шесть железных походных коек (трофеи) были аккуратно застелены и пусты, а на седьмой, заложив руки под голову и свесив ноги в начищенных сапогах, лежал Федя Седых в распоясанной гимнастерке с расстегнутым на верхние пуговицы воротом. Спокойно встал, когда я вошел, и мы пожали друг другу руки.

– Прохлаждаешься? – спросил я без подначки.

– Начальство не прохлаждается, – ухмыльнулся Федя. – Начальство думает за подчиненных. А вообще, да, прохлаждаюсь. Делать мне как командиру совершенно нечего, да и взводным тоже. Ловушки на раков поставил от нечего делать, мясца тухлого подбросил. Уже два раза попадались в немалом количестве. Раки тут, как лапти, грешно таких есть помимо пива...

Ну, насколько я знал и его, и его ухарей взводных, они наверняка оба раза сгоняли машину в город и разжились там пивком – хозяин одного из кафе возил из района неплохое разливное пиво и даже не разбавлял. Что ж, я Феде не начальник и сам в прошлые выходные посылал в то кафе Петрушу с бидончиком.

– Хорошо устроился, – сказал я. – Завидую. Тишина, на небе ни облачка, раки, как лапти...

– Выпадает иногда на войне, – беззаботно блеснул он великолепными зубами. – Сам знаешь, грех такую минутку не использовать на всю катушку...

– Да уж знаю, – сказал я ему в тон. – Ничего не нашли?

– Ничего. Иначе давно бы уж телефон обрывали. Подвалы обследовали в первую очередь, очень старательно. Сейчас братья-славяне заканчивают с первым этажом. Может, никакой захоронки и нет?

– Кто ж ее знает, – сказал я. – Вилами по воде писано. И все равно надо постараться.

– Стараемся, – пожал он плечами.

Я его успел узнать – и год служили вместе, и приятельствовали, за бутылочкой сживали не раз. Беззаботность его выглядела чуточку деланой, что-то за ней крылось. Никак не тревога и уж тем более не страх, но некий внутренний напруг определенно присутствовал...

– Ладно, не будем перетирать из пустого в порожнее, – сказал я. – Что у тебя стряслось?

– Да вот стряслось. – Он досадливо поморщился. – Такое, что с ходу и не поймешь, как ни ломай голову... Пошли, посмотришь сам.

Он сноровисто застегнул пояс с кобурой и портупею, собрал за спину складки гимнастерки, взял с крючка фуражку (вместо вешалки они приспособили вкопанное у входа молодое деревце с дюжиной отпиленных сучков), и мы вышли из палатки. Федя уверенно направился к тому самому предмету, накрытому брезентом. Солдат, завидев нас, проворно вскочил с пенька, вытянулся и притоптал окурок.

– Вольно, – бросил ему Федя. – Ну вот, тут тебе и жмурики, и его, так сказать, автор...

Кивнув на солдата, он снял брезент и, не скатывая, бросил рядом. Я присмотрелся и невольно присвистнул. Действительно, ребус...

Лежащий навзничь труп мужчины. О причинах смерти гадать не стоило: над переносицей, во лбу – аккуратное входное отверстие, несомненно, от пули из того самого карабина. Вот только покойник был абсолютно голым, как Адам до того, как его уволили из Эдема по дискредитации. Первый раз я с таким сталкивался.

– Вот так, – сказал Федя с непонятной интонацией. – Мы его не раздевали, к чему бы нам? Таким его карнач<sup>21</sup> и нашел, когда услышал выстрел и прибежал на свисток...

---

<sup>21</sup> Карнач – караульный начальник.

– Черт знает что, – сказал я.

Присел на корточки и осматривал труп без малейшей брезгливости – и до войны, и особенно в войну насмотрелся всяких, порой выглядевших гораздо непригляднее. На вид лет пятидесяти, седины в волосах и в окладистой бороде почти не видно, открытые глаза остекленели, лицо совершенно спокойное, как часто бывает у людей, внезапно убитых пулей в лоб. Не истощенный, но и не упитанный. С некоторым трудом поднял его правую руку – он давно окоченел, – осмотрел ладонь. Вся в ороговевших крестьянских мозолях. Судя по первым впечатлениям, которые вряд ли подвергнутся изменению, – типичнейший местный землероб, как говорят поляки, рольник. Но абсолютно голый. Да уж, ребус-кроссворд...

– Сипягин вчера ночью был часовым, – вновь кивнул Федя на солдата. – Он и сподобился...

Выпрямившись, я отер руку носовым платком – прикосновение к мертвому телу всегда оставляет легкую брезгливость, – сказал:

– Ну, Сипягин, рассказывайте, как было дело...

– Я, товарищ капитан, ходил по просеке вокруг дома. Как и было приказано. А случилось это в шестнадцать минут четвертого ночи, время я засек, не первогодок, и часы у меня хорошие. То есть, когда я на часы посмотрел, было шестнадцать минут, значит, стрелял я минуткой раньше.

Часы у него и в самом деле были хорошие – трофейные, со светящимися стрелками и цифрами. Для немцев такие часы делали швейцарцы – ага, нейтральные, мать их так. Сипягин определенно солдат бывалый – орден Отечественной войны второй степени, две медали и красная нашивка. И стрелок, надо полагать, хороший – аккуратно вклеил в лоб...

– Ага, – сказал я. – И появился человек...

– Да не было никакого человека, вот вам честное слово, – с жаром воскликнул Сипягин. – Вот не было, и все тут! С человеком я бы себя держал по уставу, не первогодок: «Стоять, кто идет?» – потом предупредительный в воздух и уж только потом... Не было человека, только волки, три штуки, глаза так и светились, ровненько шесть, три волка, значит. Да и ночь была лунная, я их хорошо рассмотрел. Уж волков-то я насмотрелся, у нас в Сибири их было видимо-невидимо – леса вокруг нашей деревни густые, волчьи места. – Он чуточку конфузливо отвел глаза. – С детства волков боюсь, товарищ капитан. Никого так не боюсь, как волков. У нас в деревне, когда я был еще мальцом...

– Давай-ка без воспоминаний детства, Сипягин, – поморщился я. – Значит, появились волки...

– Ага, три штуки. Ребята, кто караулил ночью, говорили, они и раньше появлялись, только близко не подходили, тарасились издали. А эти, наглые или те же, только обнаглевшие, чуть ли не на просеку вылезли. И стало мне, откровенно-то говоря, малость жутковато – вдруг возьмут да кинутся? Ну, я и пальнул. Глаза враз погасли. Я на какое-то время отвернулся, вызвал карнача свистком, потом просветил фонариком, а он лежит, вот такой. Только не навзничь, а ничком...

– Это я его распорядился перевернуть, – дополнил Федя. – Меня почти сразу же разбудили. Не ЧП, конечно, но все же происшествие...

– Понятно, – сказал я (так часто говорят, когда ничегошеньки не понятно). – Значит, были волки, а потом, когда ты по одному пальнул, на том месте оказался человек... Тебе не кажется, что это на какую-то сказку походит? Только в сказках волки людьми оборачиваются, и наоборот.

– А это еще бабушка надвое сказала, товарищ капитан, – бухнул доблестный воин Сипягин. – Вроде бы случается и в жизни, сам я не видел, а старики рассказывали...

Он спохватился, что ляпнул лишнее, и замолчал.

– Мистику разводишь, Сипягин, – сказал я уверенно. – Поповщину. Я бы даже сказал, обскурантизм, только ты такого словечка в жизни не слышал. А?

– Ваша правда, не слышал... Я ж и не говорю, что там был какой оборотень. Только стрелял я по волку, а потом на том месте обнаружился человек, вот и весь сказ... Ведь никакого нарушения устава, товарищ капитан, не первый год в армии, службу понимаю...

Он был совершенно прав. Устав караульной службы четко регламентирует поведение часового в случае, если в непосредственной близости от него окажется человек: непереносимый оклик «Стой, кто идет?», предупредительный выстрел в воздух, ну а если уж человек и после этого не остановится, будет буром переть на часового – тут уж на поражение, как положено. Волк подпадает под другую формулировку: «при появлении в непосредственной близости действовать по обстановке». Вот Сипягин по обстановке и действовал. Ну, предположим, он мог и в воздух выстрелить, чем наверняка спугнул бы волков, а не бить первым выстрелом меж глаз, но все равно никаких претензий к нему быть не может, нарушения устава нет...

Я ненадолго призадумался. Чтобы получить пулю в лоб, человек должен стоять в полный рост... а впрочем, необязательно, мог стоять на корточках, на четвереньках, а то и лежать, подняв голову, что-то высматривая...

– Сипягин, – сказал я, – на какой высоте у тебя был карабин, когда ты стрелял? Как ствол был направлен?

– Стрелял сверху вниз, товарищ капитан, – ответил он, не задумываясь. – И шел выстрел примерно на такую вот высоту...

Он показал ладонью повыше колена – примерно на такой высоте и была бы волчья морда. Но ведь не было волка! Был только убитый человек, по необъяснимой причине совершенно голый... Ну и что прикажете в такой вот ситуации делать? Да сущих пустяков, как говорят в Одессе...

– Писать умеете, Сипягин? – спросил я.

– Обижаете, товарищ капитан! Семилетку окончил...

– Вот и прекрасно, – сказал я. – Немедленно напишите подробный рапорт, я его возьму с собой. Можете идти.

И тут же спохватился: я ему был не командир, приказ мог отдать только Федя. Впрочем, Сипягин не протестовал и на Федю не косился, отдал честь и направился к палаткам. А значит, он не из Фединога разведбата, а из взвода полковой разведки...

– Парень Ерохина, а? – спросил я.

– Ну да, – сказал Федя. – Толковый разведчик, наблюдательный, хваткий. Что видел, то и описал.

При взгляде на него у меня зародились определенные подозрения, но озвучить их я не успел: рядом с моим «Виллисом» затормозил еще один, из него выпрыгнул помянутый только что старший лейтенант Ерохин, командир взвода полковой разведки, размашистыми шагами направился к нам. В руке у него был фотоаппарат без футляра, я издали узнал ФЭД, «хулиганскую фотокамеру»<sup>22</sup>.

– В город мотался, – пояснил Федя, хотя я и не спрашивал. – У себя в распоряжении взял.

Он козырнул, и я спросил с ходу:

– Жмурика поснимать решили, старший лейтенант? Иначе зачем бы вы в распоряжение за фотоаппаратом ездили...

– Да вот хотел... – ответил он без всякого смущения.

– Запрещаю, – сказал я, не раздумывая. – Ни к чему такая художественная самодеятельность. К тому же прекрасно знаете приказ насчет дневников и фотоаппаратов. Согласен, на

---

<sup>22</sup> Фотоаппараты ФЭД («Феликс Эдмундович Дзержинский») – изготавливали воспитанники исправительно-трудовой колонии для малолетних преступников, которой заведовал А.С. Макаренко. Известны хорошим качеством.

фотоаппараты сплошь и рядом смотрят сквозь пальцы, но исключительно когда речь идет о чисто бытовых снимках. А здесь – дело в ведении Смерша... Так что – не надо...

– Слушаюсь, – сказал он, не пытаясь вступить в пререкания. – Но только тут такое дело, товарищ капитан... Где-то я этого мужика определенно видел – только не голого, как сейчас, вполне одетого и обутого. Видел, определенно. Только не помню где, то ли в городе, то ли в деревне, или на хуторе. Вот и хотел...

Это уже было интересно. Сомневаться в его словах не приходилось – опытный разведчик, которому положено быть наблюдательным и памятьным. Где-то видел в условиях, когда не думал, что придется столкнуться еще раз, при таких вот обстоятельствах, потому и не запомнил специально, где этот тип, будучи живехоньким, попался ему на глаза...

– Скорее уж в деревне или на хуторе? – спросил я деловито. – Где людей гораздо меньше, чем в городе.

– Очень может быть, – кивнул Ерохин. – Или все же в городе, скажем, на базаре...

– Все равно отставить съемки, – сказал я. – Совершенно не в вашей компетенции. Сфотографируют наши... и если вы уверены, что где-то его да видели, я вам обязательно пришлю снимок. Может, потребуется кому-нибудь показать... – и с намеком повернулся к Феде.

Он прекрасно все понял, сказал Ерохину:

– Можете идти.

Ерохин козырнул и тем же размашистым шагом направился к палаткам. Я и в самом деле собирался прислать ему снимок. К абверовской школе этот мертвый покойничек безусловно не имел никакого отношения, но, поскольку Косачи некоторым образом относятся пока что к операции «Учитель», моей группе и вести расследование – оно, крепко подозреваю, выйдет поверхностным, но тут уж ничего не поделать. Пусть и Ерохин подключается, от этого не получится никакого вреда, а вот польза может выйти...

Наш фотограф дело знает. Методика отработана чекистами еще в двадцатые годы, кажется, пошла в ход в первый раз, когда они хлопнули знаменитого налетчика Ленку Пантелеева. Покойника сфотографируют с открытыми глазами, а в данном конкретном случае еще и заретушируют входное отверстие от пули во лбу. Как показывает опыт, достаточно для уверенного опознания: персонаж выглядит вполне живым, хотя порой и чуточку заторможенным, но на такие тонкости люди обычно не обращают внимания...

Мы с Федей подошли к нашей машине, и я распорядился:

– Петруша, сходи посмотри. Коли уж нам с тобой, к бабке не ходи, придется и этим заниматься...

Он с живым интересом направился к покойнику, лежавшему уже в гордом одиночестве – нет нужды держать далее возле него пост, поблизости часовой, да и кто и зачем будет красть труп в этой глухомани?

– Что будешь делать? – спросил Федя.

– А что тут можно сделать... – пожал я плечами. – Вернусь в город, пришлю за жмуром машину. Ну и пусть Ерохин напряжет память. Мне ж отписываться...

– И откуда он только взялся, голеный... – протянул Федя.

Я промолчал. Странные интонации прозвучали в его голосе, и взгляд как-то так характерно вильнул. Поневоле я утвердился в недавних подозрениях. И сказал, что думал:

– Федя, так тебя и разэтак! Такое впечатление, будто ты... ну, не скажу, что так уж веришь этому Сипягину, но как-то серьезно относишься к его болтовне про оборотня...

Он ничего не сказал, но вновь вильнул взглядом.

– Федя, ты даешь! – в сердцах сказал я. – Это Сипягин – из дремучих сибирских лесов, с семилеткой. Но ты-то... Ну, предположим, ты тоже из лесной глухомани. Только сам же рассказывал: после седьмого класса ты в глухомани и не жил. Десятилетку окончил в большом райцентре, военное училище в областном городе. Ни там, ни там дремучих лесов и близко

не было. Вполне городской человек, с образованием. Уж ты-то, в отличие от Сипягина, слово «обскурантизм» должен знать. Неужели и ты бабьим сказкам веришь?

Он промолчал. Стоял, глядя под ноги, и мне категорически не понравилось выражение его лица, хотя я и не мог бы его определить точно. В любом случае, он мне ни словечком не возразил...

– Федя, охолонись! – сказал я укоризненно.

Он поднял голову и глянул мне в глаза. Положительно, на лице у него отобразилась такая беспомощность.

– Понимаешь, Серега... – сказал он наконец. – В чем я с Сипягиным согласен, так это в том, что в глухомани иногда случается такое, о чем в городах и думать забыли...

– Ага, – сказал я не без сарказма. – И что, у вас в деревне был кто-то, кто в полнолуние волком оборачивался? И ты это своими глазами видел?

– Не видел, врать не буду, – ответил он, пожав плечами. – При мне такого не случилось. А вот в старые времена, говорили, бывало. Причем рассказывали люди, которым можно верить. И знаешь, Серега... У нас в деревне был один дед... Если у кого-то потеряется корова или там коза, сразу шли к нему. Дед брал гирику на веревочке, водил над столом или полом, ничего при этом не нашептывал. Только всегда скотину находили там, где он показал. Или говорил порой, что ее волки съели там-то и там-то. И всегда в том месте находили кости. Даже наш уполномоченный ОГПУ, когда у него не вернулась с пастбища лошадь, огородами ходил к деду. А ведь безбожник был тот еще, в двадцать девятом году церковь закрывал. А вот поди ж ты... Он, понимаешь, был местный, в Гражданскую партизанил в наших местах – и говорили, кое-что сам видел. Вот насчет деда – уж никак не с чужих слов. Когда мне было десять лет, в тридцать шестом, у нас точно так же Зорька заплутала. Отец долго не раздумывал, сразу меня к деду послал. При мне он с гирикой на веревочке виртуозил. И Зорьку отец нашел именно там, где он сказал, возле Порошинской гари...

– Ну, это другое, – подумав, сказал я, пусть и нехотя. – Вот во всяких там прорицателей и гадалщиков я, в принципе, готов поверить. В сорок третьем гадала мне одна цыганка, и, представь себе, все сбылось. Причем никак не скажешь, что она шарлатанила, все совсем по-другому обстояло. Но вот во что я никогда не поверю, так это в оборотней. Их не бывает. Завяжи с такими мыслями. Еще дойдет, чего доброго, до замполита. Взыскание он тебе, конечно, не вlepит, но смотреть будет чуточку иначе. А ты ведь в полку на отличном счету, в партию вступал в декабре сорок первого, под Москвой, в самое тяжелое время. И на батальон тебя вот-вот утвердят, мне в штабе дивизии определенно говорили. На хрена тебе мистику разводить с твоей-то биографией и послужным списком?

– Я и не развожу, – сказал Федя твердо. – Не дурак и не дите малое.

– Вот и ладушки, – сказал я. – Я, конечно, сигналить на тебя никому не пойду, но все равно неприятно мне, что ты к этой мистике словно бы серьезно относишься... Ладно. Схожу посмотрю, как там Сипягин с эпистоляром управляется, да и Петруша возвращается. Смысла мне нет тут долго торчать, нет никакой необходимости...

## Маугли местного разлива, новости и документы

С моим рапортом подполковник Радаев разделался быстро и занялся гораздо более длинным сипягинским. Читал быстро, но внимательно, попыхивая немецкой сигаретой «Юно». Ну а я, как и полагалось в таких вот случаях, сидел смирнехонько и ждал, когда он закончит. Благо вопросов он не задавал.

Подполковник Радаев – мужик примечательный. Лицо словно вытесано тупым секачом из сырого полена – но за физиономией портового грузчика, а то и биндюжника кроется светлый ум, цепкий и острый, золотые мозги прирожденного контрразведчика. Я к нему пришел уж никак не зеленым стажером, наподобие Петруши, но за год службы под его началом научился кое-чему крайне полезному...

От нечего делать в который раз посмотрел на портрет Верховного на стене, в который раз отметил окаймлявшую его широкую полосу выцветших обоев – явно прежде тут висел гораздо больший по размерам портрет Гитлера. Закурил. Радаев это разрешал, они сам дымил как паровоз. Подполковник чуть заметно поднял брови: очень похоже, дошел до того места, где я упомянул об откровенных намеках некоторых на волка-оборотня.

Конечно, фамилий я не приводил: не стоит по таким пустякам стучать ни на Федю (он мне не закадычный друг, но безусловно старый добрый боевой товарищ, «альтер камерад», как говорят немцы), ни на Сипягина – справный солдат. Но и не упомянуть о том, что они говорили, не мог. Порой приходилось, канцелярски выражаясь, «фиксировать характерные высказывания», и я решил, что это как раз тот случай, тем более в отсутствие убедительных стопроцентно материалистических версий. Вот и написал обтекаемо: в беседах со мной двое военнотружущих упоминали о волке-оборотне, с каковым и связывали странного покойника. Конечно, всерьез они в свои слова не верили, но такое впечатление, как бы это выразиться, теоретически допускали...

Радаев отложил бумагу, неторопливо закурил и невозмутимо глянул на меня:

– Вот так, значит... Волк-оборотень... Фамилий ты не указал... но я их и не спрашиваю. Еще дойдет до какого-нибудь особо ретивого замполита, возбудится, болезный. Политика партии и правительства касемо дел церковных сейчас, конечно, другая, не то что во времена воинствующих безбожников, но это ж не церковные дела, а махровая мистика... Совсем другой коленкор. Мало ли что... Ну а сам-то ты что о волках-оборотнях думаешь?

– Они бывают только в сказках, – сказал я, ничуть не кривя душой. – Немецкие вервольфы, славянские волкодлаки...

– Китайские лисы-оборотни... – кивнул он. – Я в свое время на Дальнем Востоке такого наслушался. Ну а есть у тебя какая-то материалистическая версия насчет этого странного покойника? Или хотя бы наметки? Не может не быть наметок, у тебя хватило времени как следует все прокачать. Так как?

– Кое-какие наметки есть, – сказал я, нисколько не промедлив. – Именно что вполне материалистические. Временем ограничиваете?

– Ничуть.

– Ну что же... Я не большой любитель страшных сказок. Тут другое. Когда мне было лет десять, я в кладовке нашел несколько годовых подшивок журнала «Мир приключений». Был такой в двадцатые годы...

– Помню, – кивнул Радаев. – Интересный был журнал, жаль, что давно не выходит... И что ты там вычитал?

Я отвечал без запинки, будто отличник у доски:

– В Средневековье была такая психическая болезнь... Люди искренне считали себя волками, как обычные психи – Наполеонами. Ни в каких волков, понятно, не превращались, не

носились голыми по полям-чащобам. Иногда нападали на прохожих, кусали их чувствительно, а то и до смерти загрызали. Человек ведь тоже может другого загрызть, а уж покусать... Для них даже есть научно-медицинское название – ликантропы.

– Ага! – сказал он все так же невозмутимо. – Улавливаю ход твоих мыслей. Хочешь сказать, этот покойничек – ликантроп местного разлива? Вот и тешил свою хворь, благо осень теплая и голым ногами бегать гораздо сподручнее, чем зимой?

– Вот именно, – сказал я. – Немцы психически больных уничтожали целеустремленно, но безобидный деревенский дурачок, особенно в глуши, мог им и не попасться на глаза. Я таких встречал на оккупированной территории, повезло им выжить...

– Так... – по его тону и выражению лица, как всегда, не удавалось определить, что он думает и как мои слова оценивает. – Но ведь тогда получается, что он по ночному лесу шлялся не в одиночку, а именно что в компании волков. Сипягин уверенно пишет: «...несколько пар волчьих глаз». Да и до того волки к палацу подходили... ну, не большой стаей, но безусловно группой.

– А почему бы и нет? – сказал я. – Мы с вами не зоологи и даже не охотники. Аллах их ведаёт, волков... Я в том же «Мире приключений» читал, что однажды в Индии поймали двух девочек, прижившихся в волчьей стае. Даже имена помню – Амала и Камала. Заблудились в лесу совсем крохотными. И ведь волки их не сожрали, а приняли в стаю, как Маугли у Киплинга. Правда, в той же статье писали, что Киплинг действительность здорово приукрасил: эти девчонки членораздельно говорить не умели, ходили исключительно на четвереньках, мало что в них осталось от человека. Почему бы и не предположить, что мы столкнулись с чем-то похожим? Только, в отличие от тех девчонок, наш покойник безусловно не жил мало-мальски долгое время в волчьей стае.

– Почему так думаешь?

– Труп я осмотрел внимательно, – сказал я. – Писали, что у Амалы и Камалы на локтях и коленках были здоровенные ороговевшие мозоли. Ну, понятно, они несколько лет ходили голыми на четвереньках. У нашего трупа – ничего похожего. Даже подошвы – подошвы человека, ходившего в основном в обуви. Так что по лесам он должен был бегать голым и босым именно что эпизодически. В редкие выходные, что ли. У крестьян они редко бывают, особенно в страдную пору. А он явно не бездельничал – руки вполне крестьянские. Ну а волки по каким-то своим причинам убогого умом не трогали, может быть, чуяли, что он какой-то другой, не вполне и человек. Вот и позволяли с ними шляться. Сипягин пальнул по волкам, а попал в него. Полное впечатление, что он стоял как раз на четвереньках: Сипягин клянется и божится, что пулю послал невысоко, на уровне волчьей головы... или стоящего на четвереньках человека. Солдат хваткий, разведчик, верить можно... Вот такие у меня соображения.

– Ну что тут сказать... – задумчиво произнес он. – Не скажу, что твоя версия меня устраивает полностью, но других у нас пока что нет. Да и не будет: мы этим покойником заниматься не будем, ни к чему он нам. Совершенно не по нашей линии. Ну, разве что оказался возле объекта, который нас очень интересует... но нет никаких оснований им и далее заниматься. Я, конечно, передам фотографии и ваши рапорты чекистам и милиции, авось выяснят, кто такой... Говоришь, Ерохин хочет поиграть в Шерлока Холмса?

– Ну да, – сказал я. – Заинтересовался, говорит, что он точно этого типа где-то встречал. Все равно он в палаце, по большому счету, мается бездельем, не нуждаются его ребята в постоянном чутком руководстве...

– Ну, пусть его. Только чтобы особенно не увлекался... а впрочем, мы ему не командиры. Я распоряжусь, чтобы ему дали фотографию покойничка. Дело, похоже, яйца выеденного не стоит, но закрывать его нужно по всем правилам... Да, вот что еще. Значит, точно не было рядом ни одежды, ни обуви?



– Не было, – сказал я. – Лес вокруг обыскали в радиусе метров двадцати разведчики Ерохина, солдаты капитана Седых и мой Петруша. Конечно, он мог раздеться и разуться в другом месте, подальше от палаца, но я не видел смысла прочесывать близлежащий лесной массив, да и указания такого не было...

– Совершенно нет смысла делать большую проческу, – кивнул Радаев. – Что бы нам дала его одежонка, где в карманах наверняка не было бы ничего интересного... Ты сориентировал Ерохина на базар?

– Он сам сообразил, – сказал я. – Парень тертый...

Везде, особенно в городишках вроде Косачей, базар – средоточие жизни и кладезь ценной информации. Большую часть сведений о художествах «квакиных» мы получили как раз на базаре. По тем же причинам местный НКГБ уделяет ему особое внимание...

– Теперь давай о Кропивницком, – сказал Радаев. – Чекисты хорошо поработали в областном центре, бывшем воеводстве. Ну, ты сам знаешь, как все обстояло...

Я знал, конечно. На другой день после ареста Радаев отправил в камеру к часовщику военного парикмахера, и тот поработал на совесть, укоротил волосы, убрал бороду, оставив лишь усы а-ля Пилсудский – одним словом, сделал все, чтобы часовщик во всем походил на фотографию с паспорта (ее для надежности подполковник распорядился переснять и увеличить). Десять лет – это все же не двадцать восемь, как в случае Кольвейса. Без труда можно было определить, что на обоих снимках один и тот же человек.

– До войны там было четыре часовщика, все старожилы, – продолжал полковник. – Один умер в сорок втором, был уже весьма преклонных лет. Кравца со всем семейством убили немцы – ты наверняка понимаешь по фамилии, кто он был?<sup>23</sup>

– Конечно, – сказал я.

– Ну вот... Двое живы, причем один еще работает. Оба уже старые, но, по отзывам, сохранили ясность ума и трезвую память. Никакого Ендрека Кропивницкого они не знают, человека с фотографии никогда не видели. Уверяют, что никакого пятого часовых дел мастера в городе не было. То же показали и десяток опрошенных старожилы: имя им ничего не говорит, человек на снимках им неизвестен.

– Интересно, – сказал я. – Один нюанс: специалисты уверяют, что паспорт Кропивницкого не на коленке сработан, а безусловно, выдан государством...

– Я и не спорю, – сказал Радаев. – Только сам знаешь, на войне обстановка частенько меняется резко. Так и здесь получилось. Донесение из воеводства поступило утром, а незадолго до обеда пришла самолетом спецпочта из Москвы, иногда они тянут, но в этот раз сработали оперативно. Вот, любуйся. Тебе отписано, как старшему группы.

Он выдвинул ящик стола и положил передо мной пакет, каких я навиделся достаточно: размером со стандартную канцелярскую папку, плотная желтоватая бумага, кроме надписей – соответствующие штампы, две разломанные сургучные печати.

– Личное дело капитана Ромуальда Барей, – пояснил Радаев. – К нам попало в сентябре тридцать девятого. Наш аноним прав: капитан Ромуальд Барей и часовщик Ендрек Кропивницкий – несомненно, одно и то же лицо. Я, в отличие от тебя, польского не знаю, но фотография говорит сама за себя, а чтобы прочитать написанное латинским шрифтом «Ромуальд Барей», особенных знаний не нужно. Правда... – он поморщился, такое впечатление, досадливо. – Есть тут крупная несообразность. Мне Орлич навскидку перевел кое-что, совсем немного, но этого хватило, чтобы усмотреть крупную несообразность. Ничего не буду разжевывать, ты сам быстро поймешь. Возможно, определишь: откуда у него взялся паспорт на другую фамилию, у

---

<sup>23</sup> Многие польские евреи (и этнические поляки) носили фамилии, образованные от названия профессий: Млынарж – мельник, Кравец – портной и т. д. Это было широко распространено в России, Германии и Англии.

таких, как Баря, частенько бывает несколько фамилий. – Он усмехнулся. – Впечатление такое, будто кто-то у поляков был большим шутником...

– То есть?

– Ты ведь, когда начал службу, почти два года занимался Польшей. Должен был читать польскую литературу и на польском, и на русском – мало ли где понадобится... Генрика Сенкевича читал?

– Чисто по обязанности, как польскую классику, – сказал я. – Частным образом он мне решительно не пошел – тяжеловесный слог, затянуто... Вот Болеслав Прус – другое дело: «Фараон», «Кукла»... Совсем в другом стиле написано.

– Ну, как гласит народная мудрость, кто любит попадью, а кто – попову дочку... – вновь усмехнулся подполковник. – А мне вот Сенкевич нравится. Вспомнил и сопоставил... В одном из романов из старинной жизни у него есть такой герой: рыцарь Ендрек из Кропивницы. Ендрек из Кропивницы – Ендрек Кропивницкий... Не похоже на простое совпадение. Точно, кто-то у поляков был шутником и хорошо знал классику. Ладно, это, по большому счету, несущественно. Иди и проштудируй дело. Потом сразу доложишь, что накопал.

Я взял пакет, повернулся через левое плечо и вышел из кабинета – еще более обширного, чем мой, в силу той же специфики здания. В обычных условиях такой кабинет полагался бы даже не полковнику – генералу. Поднялся к себе на этаж выше, с трудом сдержавшись, чтобы по-мальчишески не скакать через две ступеньки. Настроение было прекрасное: рванула вперед работка, пусть и не дававшая пока следочка к Кольвейсу и его архиву...

...Я неторопливо вытянул из пакета не такую уж толстую серую папку, положил перед собой...

И не раскрыл. Оба-на, сюрприз!

Подобных папок я повидал немало и в тридцать девятом, и позже. Отлично знал эту стандартную маркировку с печатным грифом и двумя большими штемпелями. В просторечии «двуйка», что означает по-русски «двойка». Если официально – второй отдел польского Генерального штаба, занимавшийся разведкой и контрразведкой. Заграничная разведка и действия против иностранной агентуры...

Теперь я понимал, где сугубый профессионал Радаев моментально усмотрел «крупную несообразность» – надо полагать, сразу после того, как капитан Орлич ему перевел надписи грифа и штампов. Контрразведка «двуйки» работала исключительно против разведорганов противника, в нашем случае – против Разведупра (ставшего впоследствии разведуправлением Генерального штаба РККА) и внешней разведки НКВД. Украинскими националистами она занималась потому, что их обучали и вооружали абверовцы, которым УВО, а потом ОУН<sup>24</sup> поставляли разведданные – классическая иностранная агентура, хоть и маскировавшаяся под «независимых». Коммунистическим подпольем, то есть врагом внутренним, как раз и занималась дефензива, подчинявшаяся Министерству внутренних дел – как обстояло и в Российской империи, где Охранное отделение, занимавшееся исключительно «политиками», подчинялось МВД. Контрразведкой, как и внешней разведкой, рулили армейцы. Две разные конторы. Здесь наш неведомый аноним угодил пальцем в небо: будь Баря «двуйкажем», как это в обиходе звалось, он никак не мог служить в дефензиве, и наоборот.

Ладно, не стоит гнать лошадей, я ведь еще и не открывал папку.

Ну и открыл. Фотография не подклеена, а вложена в аккуратный кармашек из плотной бумаги. Достаточно одного взгляда, чтобы вмиг опознать часовщика – судя по всему, снимок сделан близко к тому времени, к какому относится фотография в паспорте, быть может, вообще в одно время, а то и в один день – очень уж лица похожи, такое впечатление, относятся к

---

<sup>24</sup> УВО – Украинская военная организация. Когда позже возникла ОУН – Организация украинских националистов, – УВО сначала стала ее подразделением, «Боевой организацией», а позже целиком вошла в ОУН.

одному и тому же возрасту. Разница только в том, что на паспортной фотографии Барей-Кропивницкий в костюме с аккуратно повязанным галстуком, а на фото из личного дела – при полном офицерском параде: офицерские галуны на воротнике кителя, капитанские звездочки на погонах. Наград только две, Львовский крест и юбилейная медаль. «Виртути милитари», надо полагать, еще не получил, иначе непременно надел бы для такого снимка.

Ромуальд Барей, с неременной добавкой о родителях, как это было у поляков принято во многих документах, в том числе и в паспортах: «сын Рышарда и Марии». Ромуальд, надо же. По моему разумению, имечко такое приличествовало скорее красавчику-фрanchику вроде Макса Линдера<sup>25</sup> с напояженным пробором и усиками стрелочкой – а у Барей (что я отметил и при личном общении) физиономия была грубоватая, к которой больше подходило определение «мужицкая». Впрочем, если папаша и был простым «хлопом», то безусловно не из бедных – наш Ромуальд, родившийся 23 февраля 1894 года (та же дата и год, что в паспорте на имя Кропивницкого), в 1903 году поступил в гимназию, а при царе это было недешевым удовольствием, обходившимся в шестьдесят пять рублей золотом в год.

Не доучился, в 1911-м вышиблен из предпоследнего шестого класса, как уточнялось, «за революционное выступление». Надо полагать, какая-то мелкая буза, на которую тогдашние гимназисты-старшеклассники были мастаки. Год проучился в некоем «Техническом училище Штакельмана», получил диплом часовых дел мастера и стал работать в часовой мастерской «Ланге и Ко» (судя по этому «и Ко», фирма могла быть и крупная) – вот откуда ноги растут...

Та-ак... С 1912 года член ППС-РФ<sup>26</sup>, причем ее «боювки» – боевой организации. Серьезная была шатия-братия. Как и ее российская тезка, широко практиковала террор и «эксы» – красиво говоря, экспроприации (а если проще, лихие ребятки грабили банки, почтовые вагоны, вообще те места, где можно было раздобыть на партийные нужды неслабую денежку).

Пойдем дальше... С марта 1912 по ноябрь 1918 г. – хозяин собственной часовой мастерской «Хронос». «Внес большой вклад в деятельность Боевой организации». Нигде не упоминается, что Барей самолично бросал бомбы и орудовал «браунингом». Наверняка у него были другие обязанности – часовая мастерская (как и аптека!) идеальное место для явочной квартиры, куда под удобным предлогом могут приходить связные. Самый разнообразный народ, среди которого выявить подпольщиков крайне трудно. Вдобавок можно собирать полезную информацию – чинить часы в первую очередь приходят люди солидные, с положением, из всех слоев общества (в том числе чиновники, военные и полицейские). Наверняка деньги на обустройство явки дали подпольщики – иначе откуда у восемнадцатилетнего свежее испеченного мастера финансы на обустройство собственной мастерской? Ну, наследство получил, быть может. Впрочем, это абсолютно несущественно...

«Обеспечил успешные акции Боевой организации, которыми иногда руководили «Зюк» и «Рыдзь»<sup>27</sup> – ого, солидно для молодого парня... Экспроприации почтового вагона на Варшавской железной дороге, кассы Общества взаимного кредита и отделения «Дрезденер-банка», успешное покушение на жандармского подполковника Розена, ликвидация двух агентов Охранного отделения. Парень, надо полагать, был смелый – за такое можно было заработать не только каторгу, но и петлю, после того как ему исполнился двадцать один год, и он, согласно законам Российской империи, стал совершеннолетним, подлежащим смертной казни. Ока-

<sup>25</sup> *Макс Линдер* – знаменитый перед Первой мировой войной актер немого кино. Как правило, играл светских щеголей.

<sup>26</sup> *ППС* – Польская социалистическая партия, основана в 1892 г., в 1906 г. раскололась на ППС – Революционная Фракция, делавшая главный упор на достижение независимости (лидер – Ю. Пилсудский) и близкую к большевикам ППС – Левицу (в 1918-м ППС-Левица и Социал-демократическая партия Польши и Литвы объединились в Коммунистическую партию Польши).

<sup>27</sup> *Зюк* – одна из подпольных кличек Пилсудского. Рысь – Эдвард Рыдзь-Сиглы, впоследствии маршал, последний главнокомандующий армией довоенной Польши. Кличку Рыдзь (Рысь) официально присоединил к фамилии.

зался то ли везучим, то ли хорошим конспиратором, то ли все вместе – так ни разу и не попался соответствующим органам, ни единого упоминания нет...

Ноябрь-декабрь восемнадцатого – в чине хорунжего (по царским меркам – корнета или прапорщика, по нашим – младшего лейтенанта) командовал специальным отрядом «Локетек»<sup>28</sup> (надо полагать, кто-то, давший такое именно название, был любителем старопольской старины). Что это был за отряд, не уточняется, но имеется интересное добавление: «Внес вклад в возрождение польской государственности». Надо полагать, отряд занимался чем-то серьезным.

Кампания девятнадцатого-двадцатого годов – состоял при штабе дивизии, произведен в надпоручники (лейтенант), награжден Львовским крестом. Снова ничего конкретного, но есть все основания думать, что человек с большим опытом подпольной работы, явно занимавшийся партийной разведкой и контрразведкой, в штабе не карты рисовал и не каптеркой заведовал, Львовскими крестами так просто не бросались, их не так уж много, в отличие от других наград – номерные.

Ага! После окончания советско-польской войны и до марта тридцать четвертого служил во втором отделе Генерального штаба, в воеводском управлении (в соседнем). Специализировался на работе против украинских националистов. Дважды был в командировках в Германии, в двадцать восьмом, в тридцать первом. Опять никаких подробностей, но тут и гадать нечего: человек с такой специализацией явно отрабатывал связи УВО с абвером. Оба раза под чужими фамилиями: Яцек Палашкевич и Рышард Клюгер, коммерсанты.

Та-ак! В начале марта тридцать четвертого уволен в отставку «по состоянию здоровья». За месяц до этого получил паспорт на имя Ендрека Кропивницкого, скорее всего, для очередной операции под прикрытием, – и этот паспорт у него не забрали, хотя должны были. Вот так и появился на свет часовых дел мастер Ендрек Кропивницкий, перебравшийся сюда из соседнего воеводства и мирно ковырявшийся в часовых механизмах больше десяти лет при всех властях...

Что еще? В марте двадцать первого обвенчался с Люцией Томашевской. Детей не было. Жена погибла в двадцать девятом в железнодорожной катастрофе. Три награды. Последняя, «Виртути милитари», вручена 23 февраля, в день сорокалетия, что позволяет сделать определенные выводы.

Все. Ну, еще автобиография и три данные в свое время характеристики – две при очередных повышениях в звании, третья в январе тридцать четвертого. Ничего не добавляет к тому, что имеется в личном деле и послужном списке.

Я уложил последний листок в аккуратную стопку и закрыл папку. Теперь можно было кое-что обмозговать. Прежде всего, несколько странно, что человек со столь солидным послужным списком поднялся в независимой Польше так невысоко. Боевик с дореволюционными заслугами, выполнял личные поручения Зюка и Рыдзя, стало быть, был им хорошо известен. «Внес вклад в возрождение польской государственности», а до того «обеспечил успешные акции Боевой организации». С такой биографией мог бы дослужиться если не до генерала, то уж до полковника, служить где-нибудь в Варшаве или Кракове, а не попасть в польскую тьмутаракань рядовым оперативником, да и к юбилею польского государства получить не юбилейную медальонку, а скажем, орден Возрождения Польши.

Ну, чужая душа – потемки. Возможно, именно такое звание и место службы его вполне устраивали – бывают и такие люди, что у поляков, что у нас. Возможно, здесь своего рода патологическое невезение, в любой армии мира хватает таких служак: исправно тянут лямку без единого взыскания, но так уж судьба оборачивается, что всю жизнь проводят в захолустных

<sup>28</sup> *Локетек* (Локоток) – прозвище польского короля Владислава (1306–1331, король с 1320 г.), данное за малый рост.

гарнизонах. Лермонтовский Максим Максимыч, ага, до седых волос вечный штабс-капитан. Знакомая история.

И с его увольнением абсолютно непонятно. «По состоянию здоровья», но в личном деле нет медицинского заключения, что противоречит и нашим, и польским методам делопроизводства. Когда его арестовали, первым делом, как полагается, отправили на медицинское обследование – и врач заверил, что он ничуть не тухляк здоровьем, что любой наш полевой военкомат поставил бы ему штамп «Годен без ограничений» (конечно, на передовую его вряд ли послали бы, но мало ли занятий во втором эшелоне? Я на военных дорожках встречал немало таких вот крепких мужиков пятидесяти лет, а то и немного поболее).

Тогда почему? Совершенно не верится, что его в очередной раз определили под прикрытием на роль гражданского часовщика. Прежние его поездки под личиной коммерсанта заняли одна две недели, вторая – неполный месяц. Что это за супероперация такая, ради которой «Кропивницкий» просидел бы под личиной больше чем пять с половиной лет? Наконец, если допустить, что таковая операция действительно имела место, никто не стал бы вносить в личное дело запись о мнимом увольнении – к чему доводить секретность до абсурда? И медицинского заключения нет. И не просматривается совершенно никаких прегрешений, за которые могли бы выпереть в отставку. Из личного дела следует: звезд с неба не хватал, но серьезных промахов или упущений по службе не зафиксировано, как и выговоров с занесением. Явно собирались и в третий раз отправить куда-то под прикрытием, но вместо этого через месяц отправили в отставку...

Не стоило ломать над этим голову – были вещи поважнее, имевшие к нашим делам, в отличие от загадочного увольнения, самое что ни на есть прямое отношение...

Почему таинственный аноним представил Барю-Кропивницкого сотрудником дефензивы? Из личного дела недвусмысленно следовало, что Баря к ней никогда не имел ни малейшего отношения. Служил в совершенно другой конторе. Всегда и везде во всем, что касается секретных (и не особенно секретных) служб, присутствует некая строгая иерархия. Офицер «двуйки» еще мог выступать в облике сотрудника дефензивы (как я сам два раза выступал в облике милиционера, один раз в гражданском, второй – в милицмейской форме), а вот наоборот никак не могло оказаться, не та субординация в отношениях между двумя сугубо разными службами. И уж безусловно, «двуйка» не стала бы фабриковать личное дело ни в каких таких целях прикрытия...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.